ГРАНИ

GRANI

78

1970

Postverlagsort: Frankfurt/Main, Dezember 1970

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОСЕВ»

Александр Солженицын

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ШЕСТИ ТОМАХ

Цветная художественная суперобложка, твердый переплет, тисненный золотом, работы художника А. Русака. Фотография автора и его портрет работы московского художника В. Сидура

ТОМ ПЕРВЫЙ

ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА

РАССКАЗЫ

Матренин двор. Случай на станции Кречетовка. Для пользы дела. Захар Калита. В томе 308 страниц и фотография А. И. Солженицына на меловой бумаге.

Цена в твердом переплете 18.-- н. м., в мягком — 15.-- н. м. В США и Канаде 6.-- ам. дол. и 5.-- ам. дол.

ТОМ ВТОРОЙ

РАКОВЫЙ КОРПУС

600 страниц

Цена в твердом переплете 24.-- н. м., в мягком —21.-- н. м. В США и Канаде 8.-- ам. дол. и 7.-- ам. дол.

ТОМА ТРЕТИЙ И ЧЕТВЕРТЫЙ

В КРУГЕ ПЕРВОМ

Цена каждого тома в твердом переплете 18.-- н. м. В США и Канаде 6.-- ам. дол. Цена каждого тома в мягком переплете 15.-- н. м. В США и Канаде 5.-- ам. дол.

ТОМ ПЯТЫЙ

ПЬЕСЫ, РАССКАЗЫ, СТАТЬИ

Олень и шалашовка. Свеча на ветру. Правая кисть. Крохотки. Пасхальный крестный ход. Как читают Ивана Денисовича. Не обычай дегтем щи белить, на то сметана. Ответ трем студентам. В томе 270 стр.

Цена в твердом переплете 15.-- н. м., в мягком — 12.-- н. м. В США и Канаде 5.-- ам. дол. и 4.-- ам. дол.

ТОМ ШЕСТОЙ

«ДЕЛО СОЛЖЕНИЦЫНА». КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

Письма, записки заседаний и др. материалы, показывающие отношение А. Солженицына к СП, к вопросам цензуры, к судьбам отечественной литературы. *Наиболее полный сборник документов*, начиная с письма IV съезду СП.

Цена в твердом переплете 18.-- н. м., в мягком — 15.-- н. м. В США и Канаде 6.-- ам. дол. и 5.-- ам. дол.

ГРАНИ

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год издания XXV **№ 78** **1970 год**

От редакции 2

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ВАСИЛИЙ ГРОССМАН — **Всё течет...** Отрывки из романа 3
МАРИНА ЦВЕТАЕВА — **На смерть Маяковского.** Стихотворение 34
АРКАДИЙ СТРУГАЦКИЙ. БОРИС СТРУГАЦКИЙ — **Сказка о тройке.** Повесть 38

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Д. РУДНЕВ — **«Замкнутый мир» современной русской фантастики** 166
ВЛ. Н. ПАВЛОВ — **Исторические взгляды Осипа Мандельштама** 197

ФИЛОСОФИЯ

Н. О. ЛОССКИЙ — **Интуитивизм.** Окончание 212

БИБЛИОГРАФИЯ

Валерий Перелешин. Залетная душа. — **А. Неймирок.** «Dichtung» и «Wahrheit». — **О. Можайская.** «Не умеющая солгать». — **О. Емельянова.** Улыбка Псиши. — **Д. Орленин.** Путешествия Олеария в Россию XVII века. — **Ив. С.** Еще одна находка 241
Список книг, поступивших в редакцию 265
Содержание номеров 75-78 журнала «Грани» 268
Обращение издательства «Посев» 269

© 1970 Copyright by Possev-Verlag,
V. Gorachek K. G., Frankfurt am Main

Издательство «Посев»

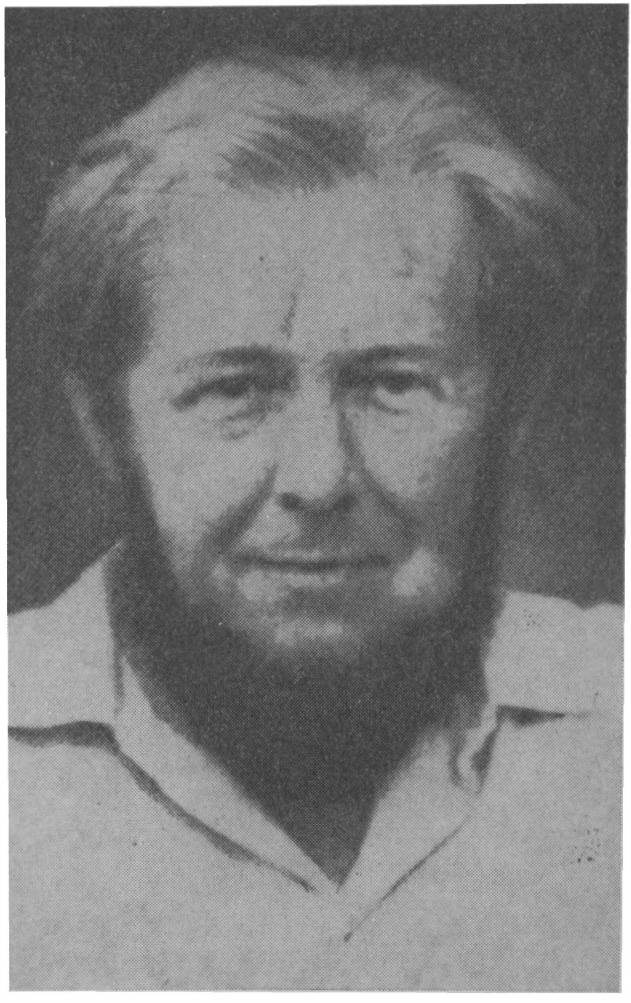
ОТ РЕДАКЦИИ

С этого номера журнал «ГРАНИ» меняет свой старый формат на книжный. Причины следующие: во-первых, в уменьшенном формате журнал легче распространять в России; во-вторых, при переиздании отдельных произведений из «ГРАНЕЙ» книгами экономятся время и средства.

В каждом номере «ГРАНЕЙ» нового формата вместо 208 старых будет 240 страниц.

Этот номер выходит с увеличенным количеством страниц из-за того, что в последний момент, когда номер подписывался к печати, в него были включены отрывки из книги «Всё течет...» Вас. Гроссмана.

Стоимость подписки и отдельных номеров остается прежней.



Провозвестнику рассвета в российской литературе и лучшему творцу ее — Александру Исаевичу Солженицыну шлет редакция журнала «Грани» поздравления с присуждением Нобелевской премии.

(Текст телеграммы, отправленной 9. 10. 1970 г.)

Василий Гроссман

ВСЕ ТЕЧЕТ...

(Отрывки из романа)

7

Кто виноват, кто ответит...

Надо подумать, не надо спешить с ответом.

Вот они, фальшивые инженерские и литературные экспертизы, речи, разоблачающие врагов народа, вот они, задушевные разговоры и дружеские признания, переложенные в донесения и рапорты сексотов-стукачей, информаторов.

Доносы предшествовали ордеру на арест, сопутствовали следствию, отражались в приговоре. Эти мега-

---

Печатаемые отрывки — 7 и 14 главы из романа Вас. Гроссмана «Всё течет...». Свою работу над этим произведением автор закончил в 1963 г., но ни при жизни автора, ни после его смерти (1964 г.) оно не могло быть опубликовано в России, так как находится в резком противоречии с требованием коммунистической цензуры. Роман Василия Гроссмана «Всё течет...» вышел в издательстве «Посев». В ближайшем будущем роман выйдет на английском, немецком, французском, итальянском и других языках.

Перепечатка или перевод на иностранные языки, даже в отрывках, воспрещается.

© 1970 by Possev-Verlag, V. Gorachek, Frankfurt/M.

О творчестве В. Гроссмана и, в частности, о его нашумевшем романе, посвященном Второй мировой войне, «За правое дело» (1952 г.) см. статью Н. Анатольевой «В неравном бою» в «Гранях» № 18, 1953 г. — Ред.

тонны доносной лжи, казалось, определяли имена людей в списках раскулаченных, лишаемых голоса, паспорта, ссылаемых, расстреливаемых.

На одном конце цепи два человека беседовали за столом и отхлебывали чай, затем при свете лампы под уютным абажуром писалось интеллигентное признание; либо на колхозном собрании попросту говорил речь активист, а на другом конце цепи были безумные глаза, отбитые почки, расколотый пулей череп, цинготные мертвецы в лагерном бревенчато-земляном морге, отмороженные в тайге гнойные и гангренозные пальцы на ногах.

В начале было слово... Воистину так.

Как быть с погубителями-доносчиками?

Вот вернулся после двадцатилетнего лагеря человек с трясущимися руками, с запавшими глазами мученика: Иуда — первый. И среди друзей его пошел шепоток — говорят, он в свое время плохо вел себя на допросах. Некоторые с ним перестали раскланиваться. Те, что поумней, при встречах с ним вежливы, но в дом к себе не зовут. Те, что умней, шире, глубже, и в дом его к себе зовут, но в душу не пускают, закрыли ее перед ним.

Все они с дачами, со сберкнижками, с орденами, с машинами. Конечно, он худой, а они толстые, но они действительно не вели себя плохо на допросах. Собственно, они и не могли подличать на допросах — их не допрашивали. Им повезло: их не арестовали. В чем же действительно истинное душевное превосходство этих толстых перед этим худым? Случай или закон определил их судьбы?

Он был обыкновенным человеком. Он пил чай, ел яичницу, любил беседовать с друзьями о прочитанных книгах, ходил в МХАТ, иногда проявлял доброту. Был он, правда, очень впечатлителен, нервен, не было в нем самоуверенности.

А на человека крепко нажали. На него не только кричали, его били, и спать не давали, и пить не давали, а кормили селедочкой и стращали смертной казнью. И все же, что ни говори, он совершил страшное дело — оклеветал невинного. Правда, тот, оклеветанный, посажен не был, а он, которого принудили клеветать, отбыл невинно 12 лет лагерной каторги, вернулся чуть живым, сломленным, нищим, доходягой. Но ведь оклеветал...

Не будем спешить, подумаем всерьез об этом доносчике.

Но вот Иуда — второй. Этот и дня не провел в заключении. Он слыл умницей и златоустом, и вот вернувшиеся из лагеря чуть живые люди рассказали, что он сексот. Он способствовал гибели многих людей. Он годами вел задушевные разговоры со своими друзьями, а затем составлял письменные заметы и сдавал их по начальству. Из него пыткой показаний не выколачивали, он сам проявлял находчивость, незаметно подводил собеседников к опасным темам. Двое оклеветанных им не вернулись из лагеря, один был расстрелян по приговору военной коллегии, те, что вернулись, привезли список болезней, по каждой из которых жестокий ВТЭК дает инвалидность первой группы.

А он-то нажил брюшко, славился как гастроном и знаток грузинских вин. И работал он в области изящного, был, между прочим, собирателем уникальных изданий старинной поэзии...

Но не будем спешить, подумаем, прежде чем выносить приговор.

Он ведь с детских лет без памяти испугался, — отец его, богатый человек, умер в 1919 году в концлагере от сыпного тифа, тетка эмигрировала с мужем-генералом в Париж, старший брат воевал на стороне добровольцев. С детства в нем жил ужас. Мать до дрожи боялась милиции, управдома, старшего по квартире, делопроизводителей из горсовета. Каждый день и каждый час он

и родня его чувствовали свою классовую ограниченность и классовую порочность... Учась в школе, он трепетал перед секретарем ячейки: миловидная пионервожатая Галя, казалось, смотрела на него с гадливостью, как на неприкасаемого червя. Его ужасало, что она заметит его влюбленный взгляд.

И кое-что становится понятным. Его зачаровала сила нового мира, он словно пташка всматривался славными своими глазенками в сияющие очи всесветной нови. Ему так хотелось приобщиться, сподобиться. Вот и новь приобщила его к себе. Воробушек и не пикнул, не трепыхнул крылышками, когда грозному миру понадобились и ум его, и присущий ему шарм. Он все принес на алтарь отечества.

Все это верно, конечно. Но ведь подлец, какой оказался подлец! И ведь стуча, себя не забывал — сладко ел, нежился. И все же очень уж он был незащищенный, такому с нянечкой, с женушкой.Ну где ему было справиться с силищей, которая полмира согнула, всю империю вывернула наизнанку. А он со своей трепетной тонкостью был, как кружевцо, чуть к нему не так прикоснешься, он весь терялся, в глазах жалобное выражение.

И вот оказалось, смертельная болотная гадючка подкатывалась колокольчиком, и много муки от нее досталось людям.

И ведь губил таких же, как сам, многодавних своих друзей, милых, скрытных, умных, робких. Он один имел к ним ключик. Он ведь все понимал — плакал, читая чеховского «Архиерея».

И все же подождем, подумаем, — не подумавши, не станем казнить его.

А вот новый товарищ — Иуда — третий. У него отрывистый голос, с хрипотцой, боцманский. Взгляд испытующий, спокойный. В нем уверенность хозяина жизни. То бросят его на идеологическую работу, то в плодоовощь. Анкетные данные его — снежной белизны,

сами светятся. Родня — станковые рабочие и беднейшее столбовое крестьянство.

В 1937 году человек этот слету, смаху написал больше двухсот доносов. Многообразен его кровавый список. Комиссары времен гражданской войны, поэт-песенник, директор чугунолитейного завода, два секретаря райкома, старый беспартийный инженер, три редактора — один газетный, два издательских, заведующий закрытой столовой, преподаватель философии, зав. парткабинетом, профессор ботаники, слесарь из домоуправления, два сотрудника облземотдела... Всех не перечислишь.

Все его доносы сочинены на советских людей, а не на бывших, жертвы его — члены партии, участники гражданской войны, активисты. Он особо специализировался на партийцах фанатического склада, — резво сек их смертельной бритвой по глазам.

Мало кто вернулся из двухсот — одни расстреляны, другие накрылись деревянбушлатом, погибли от дистрофии, расстреляны при лагерных чистках; вернувшиеся, душевно и физически искалеченные, кое-как дотягивают свое вольное существование.

А для него 1937 год стал порой виктории. Он ведь был не шибко грамотным востроглазым парнюгой, все вокруг, казалось, сильнее его и по образованности, и по героическому прошлому. Ни очка не причиталось ему с тех, кто затеял и совершил революцию. Но с какой-то фантастической легкостью от одного его прикосновения валились десятки людей, овеянных революционной славой.

С тридцать седьмого года он и пошел круто вверх. В нем-то и оказалась благодать, драгоценнейшая суть нови.

Вот с ним уж, кажется, все ясно — на костях, на страшных муках стал быть этот депутат и член бюро.

Но нет, нет, не следует спешить, надо разобраться, подумать, прежде чем произносить приговор. Ибо не ведал он, что творил.

Старшие наставники именем партии однажды сказали ему:

«Беда! Мы окружены врагами! Они прикидываются испытанными партийцами, подпольщиками, участниками гражданской войны, но они враги народа, резиденты разведок, провокаторы...» Партия говорила ему: «Ты молод и чист, я верю тебе, парнишка, помоги мне, иначе погибну, помоги мне одолеть эту нечисть...»

Партия кричала на него, топала на него сталинскими сапогами: «Если ты проявишь нерешительность, то поставишь себя в один ряд с выродками, и я сотру тебя в порошок! Помни, сукин сын, ту черную избу, в которой ты родился, а я веду тебя к свету: чти послушание, Великий Сталин, отец твой, приказывает тебе: 'Ату их!'»

Нет, нет, он не сводил личных счетов... Он, сельский комсомолец, не верил в Бога. Но в нем жила другая вера — вера в беспощадность карающей руки великого Сталина. В нем жило безоглядное послушание верующего. В нем жила благодарная робость перед могучей силой, ее гениальными вождями Марксом, Энгельсом, Лениным, Сталиным. Он, солдатик великого Сталина, поступал по велению его.

Но, конечно, в нем жила и биологическая неприязнь, инстинктивная подспудная гадливость к людям интеллигентного фанатичного революционного поколения, на которых его натравливали.

Он выполнял свой долг, он не сводил счетов, но он писал доносы из чувства самосохранения. Он зарабатывал капитал, более драгоценный, чем золото и земельные угодья, — доверие партии. Он знал, что в советской жизни доверие партии — это все: сила, почести, власть. И он верил, что его неправда служит высшей правде, он прозревал в доносе истину.

Да можно ли винить его, когда и не такие головы не смогли разобраться — в чем же ложь, а в чем правда, когда и чистые сердца в бессилии недоумевали, что есть добро, а что есть зло.

Он ведь верил, точнее — хотел верить, точнее — не мог не верить.

Чем-то это темное дело было ему неприятно, но ведь долг! Да и чем-то нравилось страшное дело ему, пьянило, затягивало. «Помни, — говорили ему наставники, — нет у тебя ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестер, — есть у тебя лишь партия».

И силилось странное, томящее чувство: в своем бездумии, в своем послушании он обретал не бессилие, а грозную мощь.

А в недобрых генеральских глазах его, в его властном отрывистом голосе нет-нет да мелькали тени совсем иной, тайно жившей в нем натуры — ошарашенной, обалделой, вскормленной и вспоенной веками русского рабства, азиатского бесправия...

Да, да, и здесь придется подумать. Ведь страшно казнить и страшного человека.

Но вот новый товарищ — Иуда — четвертый.

Он жилец коммунальных квартир, он мелкосредний служащий, он колхозный активист. Но кем бы он ни был, — лицо его всегда одно, молод ли он, стар, безобразен, либо статный и румяный русский богатырь — его тотчас можно узнать. Он мещанин, жадный до предметов накопитель, фанатик материального интереса. Его фанатизм в добывании дивана-кровати, крупы-гречки, серванта польского, стройматериалов-дефицитных, мануфактуры-импортной, — по силе своей равен фанатизму Джордано Бруно и Андрея Желябова.

Он создатель категорического императива, противоположного кантовскому, — человек, человечество всегда выступают для него в качестве средства при его охоте за предметами. В глазах его, светлых и темных, постоянно напряженное, обиженное и раздраженное выражение. Всегда ему кто-то наступил на ногу, и ему неизменно нужно с кем-то посчитаться.

Страсть государства к разоблачению врагов народа благодатна для него. Она словно широкий пассат, дующий над океаном. Его маленький желтый парус напол-

нен широким попутным ветром. И ценой страданий, выпадающих тем, кого он губит, он добывает нужное ему: дополнительную жилплощадь, повышение оклада, соседскую избу, польский гарнитур, утепленный гараж для своего «Москвича», садик...

Он презирает книги, музыку, красоту природы, любовь, материнскую нежность. Только предметы, одни лишь предметы.

Он пишет донос на сослуживца, танцевавшего с его супругой и вызывающего в нем ревность, на высмеявшего его за столом остроумца и даже на случайно толкнувшего его в кухне соседа по квартире.

Две особенности отличают его — он доброволец, волонтер, его не пугали, не заставляли, он сам по себе доносит, стращать его не надо. Второе — он видит в доносе свою прямую, ясную выгоду.

И все же, задержи поднятый для удара кулак.

Ведь его страсть к предметам рождена нищетой. О, он может рассказать о комнате в восемь квадратных метров, где спит одиннадцать человек, где похрапывает паралитик, а рядом шуршат и стонут молодожены, бормочет молитву старуха, заходится плачем опи́савшийся ребенок.

Он может рассказать о деревенском зелено-коричневом хлебе с толченым листом, о едином трехразовом московском супе из уцененной промерзшей картошки.

Он может рассказать о доме, где нет ни одного красивого предмета, о стульях с фанерками вместо сидений, о стаканах из мутного толстого стекла, об оловянных ложках и двузубых вилках, о латанном и перелатанном белье, о грязном резиновом плаще, под который в декабре надевают рваную стеганку.

Он расскажет об ожидании автобуса в утреннем зимнем мраке, о неумолимой трамвайной давке после страшной домашней тесноты...

Не звериная ли его жизнь породила в нем звериную страсть к предметам, к просторной берлоге? Не от звериной ли жизни озверел он?

Да, да, все это так, конечно. Но замечено, что ему-то жилось не хуже, чем другим, хоть и плохо жилось ему, но лучше, чем многим и многим.

А вот эти многие и многие не сотворили того, что сотворил он.

Подумаем не торопясь, потом уж приговор.

ОБВИНИТЕЛЬ: Вы подтверждаете, что писали доносы на советских граждан?

СЕКСОТЫ И ДОНОСЧИКИ: Да, в некотором роде.

ОБВИНИТЕЛЬ: Вы признаете себя виновными в гибели невинных советских людей?

СЕКСОТЫ И ДОНОСЧИКИ: Нет. Категорически отрицаем. Государство заранее обрекло этих людей гибели, мы работали, так сказать, для внешнего обрамления. По существу, что бы мы ни писали, как бы мы ни писали, обвиняли или оправдывали, люди эти были обречены государством.

ОБВИНИТЕЛЬ: Но ведь иногда вы писали по своему собственному выбору. В таких случаях вы сами намечали жертву.

ДОНОСЧИКИ И СЕКСОТЫ: Эта наша свобода выбора кажущаяся. Люди уничтожались методом статистическим, к истреблению готовились лишь люди, принадлежащие к определенным социальным и идейным слоям. Мы знали эти параметры, ведь вы их тоже знали. Мы никогда не стучали на людей, принадлежащих к здоровому слою, не подлежащему уничтожению.

ОБВИНИТЕЛЬ: Так сказать, по-евангельски: падающего толкни. Однако же были и случаи, даже в то суровое время, когда государство оправдывало оклеветанных лиц.

ЗАЩИТНИК: Да, такие случаи действительно были, они — следствие ошибки. Но ведь только Бог не ошибается. Да и вспомните, как редки были случаи оправдания, значит, и редки были ошибки.

ОБВИНИТЕЛЬ: Да, доносчики и сексоты знали свое дело. Но все же ответьте мне, для чего вы стучали?

ДОНОСЧИКИ И СЕКСОТЫ (хором): Меня заставили... били... А меня загипнотизировал страх, мощь беспредельного насилия... Что касается меня — я выполнял свой партийный долг, как его в ту пору понимал.

ОБВИНИТЕЛЬ: А вы, четвертый товарищ, почему молчите?

ИУДА-ЧЕТВЕРТЫЙ: Я-то что, зачем вы ко мне придираетесь, я человек темный, меня легче, чем образованных, сознательных, обидеть.

ЗАЩИТНИК (перебивая): Разрешите, я поясню. Мой клиент действительно доносил, преследуя личные цели. Однако учтите, в данном случае личный интерес не противоречил государственному. Государство не отклоняло доносов моего подзащитного, следовательно, он выполнял государственно полезное дело, хотя при первом, поверхностном взгляде может показаться, что он действительно доносил лишь из эгоистических, личных соображений. Теперь же вот что. В сталинские времена вас, обвинитель, самого обвинили бы в недооценке роли государства. Знаете ли вы, что силовые поля, созданные нашим государством, тяжелая в триллионы тонн масса его, сверхужас и сверхпокорность, которые оно вызывает в человеческой пушинке, таковы, что делают бессмысленным любые обвинения, направленные против слабого, незащищенного человека. Смешно винить пушинку в том, что она падает на землю.

ОБВИНИТЕЛЬ: Ваш взгляд мне ясен: вы не склонны, чтобы ваши подзащитные приняли на себя хотя бы самую малую долю вины. Только государство. Но скажите, сексоты и доносчики, неужели вы не признаете себя хотя бы в какой-либо мере виновными?

СЕКСОТЫ И ДОНОСЧИКИ (переглядываются, шепчутся, затем слово берет ученый сексот): Разрешите ответить. Ваш вопрос при внешней своей простоте не так уж прост. Прежде всего, он лишен смысла, но это

как раз не имеет значения. Действительно, к чему ныне искать виновных за преступления, совершенные в сталинскую эпоху? Это все равно, что, переселившись с земли на луну, возбудить тяжбу о земельных приусадебных участках. С другой стороны, если считать, что эпохи не так уж далеки друг от друга и, как сказал поэт, в веках стоят почти что рядом, — возникает немало иных сложностей. Почему вам обязательно хочется обличать именно нас, слабеньких? Начните с государства, судите его. Ведь наш грех — это его грех, судите же его. Бесстрашно, вслух. Вам иначе нельзя, как бесстрашно, вы ведь выступаете во имя правды. Ну, давайте же, действуйте! Затем ответьте, пожалуйста, почему вы спохватились именно теперь? Всех нас вы знали при жизни Сталина. Отлично с нами встречались, ждали приема у дверей наших кабинетов, иногда что-то там воробьиными голосами шептали по нашему поводу. Так и мы ведь шептали воробьиным шепотом. Вы, как и мы, соучастники сталинской эпохи. Почему же вы, соучастники, должны судить нас, соучастников, определять нашу вину? Понимаете, в чем сложность? Может быть, мы и виноваты, но нет судьи, имеющего моральное право поставить вопрос о нашей виновности. Помните, у Льва Николаевича: нет в мире виноватых! А в нашем государстве новая формула — все миром виновны, и нет в мире одного невиновного. Речь идет о мере, о степени вины. Пристало ли вам, товарищ прокурор, обвинять нас? Одни лишь мертвые, те, что не выжили, вправе судить нас. Но мертвые не задают вопросов, мертвые молчат. И вот разрешите на ваш вопрос ответить вопросом. По-человечески, просто, от души, по-русски. В чем причина этой подлой, всеобщей, вашей и нашей, поголовной слабости, податливости?

ОБВИНИТЕЛЬ: Вы отклонились от ответа.

(Входит секретарь, протягивает ученому сексоту пакет, говорит: «правительственный».)

УЧЕНЫЙ СЕКСОТ (прочитав бумагу, протягивает

ее обвинителю): Прошу вас: в связи с шестидесятилетием отмечены мои более чем скромные заслуги в отечественной науке.

ОБВИНИТЕЛЬ (прочтя бумагу): Не могу не порадоваться за вас, невольно как бы, ведь все мы — советские люди.

УЧЕНЫЙ СЕКСОТ: Да, да, естественно, спасибо (бормочет про себя). Разрешите через вашу газету поблагодарить... учреждения, организации, а также товарищей и друзей...

ЗАЩИТНИК (становится в позу и произносит речь): Товарищ обвинитель и вы господа присяжные заседатели! Товарищ прокурор сказал моему подзащитному, что он отклонился от ответа — признает ли он себя хоть в какой-либо мере виновным. Но и вы ведь ему не ответили — в чем причина нашей общей, поголовной податливости? Может быть, сама природа человека породила доносчиков, сексотов, информаторов, стукачей? Может быть, их порождают железы внутренней секреции, хлюпающая кашица в кишечнике, грохот желудочных газов, слизистые оболочки, деятельность почек, они рождаются из безглазых и безносых инстинктов питания, самосохранения, размножения?

Ах, не все ли равно — виноваты ли стукачи или не виноваты, пусть виноваты они, пусть не виноваты, отвратительно то, что они есть. Отвратна животная, растительная, минеральная, физикохимическая сторона человека. Вот из-за этой-то слизистой, обросшей шерстью, низменной стороны человеческой сути и рождаются стукачи. Стукачи проросли из человека. Жаркий пар госстраха пропарил людской род, и дремавшие зернышки взбухли, ожили. Государство — земля. Если в земле не затаились зерна, не вырастет из земли ни пшеница, ни бурьян. Человек обязан лично себе за мразь человеческую.

Но знаете ли вы, что самое гадкое в стукачах и доносчиках? Вы думаете — то плохое, что есть в них?

Нет! Самое страшное — то хорошее, что есть в них, самое печальное то, что они полны достоинств, добродетели.

Они любящие, ласковые сыновья, отцы, мужья... На подвиг добра, труда способны они.

Они любят науку, великую русскую литературу, прекрасную музыку, смело и умно некоторые из них судят о самых сложных явлениях современной философии, искусства...

А какие среди них встречаются преданные, добрые друзья, как трогательно навещают они попавшего в больницу товарища.

Какие среди них терпеливые отважные солдаты, они делились с товарищем последним сухарем, щепоткой махорки, они выносили на руках из боя истекающего кровью бойца.

А какие среди них есть даровитые поэты, музыканты, физики, врачи, какие среди них умельцы слесаря, плотники, те, о которых народ с восхищением говорит — золотые руки.

Вот это и страшно: много, много хорошего в них, в их человеческой сути.

Кого же судить? Природу человека! Она, она рождает эти ворохи лжи, подлости, трусости, слабости. Но она ведь рождает и хорошее, чистое, доброе. Доносчики и стукачи полны добродетели, отпустите их по домам, но до чего мерзки они, со своими добродетелями, со всем отпущением грехов... Да кто же это так нехорошо пошутил, сказав: «Человек, это звучит гордо!»?

Да, да, они не виноваты, их толкали угрюмые, свинцовые силы, на них давили триллионы пудов, нет среди живых невиновных. Все виновны, и ты, подсудимый, и ты, прокурор, и я, думающий о подсудимом, прокуроре и судье.

Но почему так больно, так стыдно за наше человеческое непотребство?

14

Иван Григорьевич во сне увидел мать. Она шла по дороге, сторонясь потока тягачей, самосвалов; она не видела сына, он кричал: «Мама, мама, мама...», но тяжелый гул тракторов заглушал его голос.

Он не сомневался, что она в сутолоке дороги узнает в седом лагернике своего сына, только бы услышала, только бы оглянулась.

Он в отчаянии открыл глаза, над ним склонилась полуодетая женщина, — он во сне звал мать, и женщина подошла к нему.

Она была рядом с ним. Он почувствовал сразу, всем существом своим, что она прекрасна. Она слышала, как он кричал во сне, и она подошла к нему, испытывая к нему нежность и жалость. Глаза женщины не плакали, но он увидел в них нечто большее, чем слезы сочувствия, увидел то, чего он никогда не видел в глазах людей.

Она была прекрасна потому, что она была добра. Он взял ее за руку. Она легла рядом с ним, и он ощутил тепло, ее нежную грудь, ее плечи, ее волосы. Казалось, он ощущал не наяву, а во сне: наяву он никогда не бывал счастлив.

Вся она была доброта, и он понимал телесным существом своим, что ее нежность, ее тепло, ее шепот прекрасны, потому что сердце ее полно доброты к нему, потому что любовь есть доброта.

Первая любовная ночь.

— Вспоминать это не хочется, тяжело очень, а не забудешь тоже. Вот живет оно — то ли спит, не спит. Железо в сердце, словно осколок. Не отмахнешься от него. Как забыть... Я вполне взрослая была.

Милый мой, я мужа очень любила. Я красивая была, а все же плохая, не добрая. Мне тогда двадцать два года было. Ты меня не полюбил бы тогда и красивую. Я знаю, я как женщина чувствую: не только я для тебя, то, что мы рядом с тобой легли. А я смотрю на те-

бя, ты не сердись, как на Христа. Все хочется перед тобой, как перед Богом, каяться. Хороший мой, желанный, я хочу тебе об этом рассказать, все вспомнить, что было.

Нет, при раскулачивании голода не было, упали только лошади. А голод пришел в тридцать втором, на второй год после раскулачивания.

Я в рике полы мыла, а подруга моя — в земотделе, и мы много знали, я могу все, как было, рассказать. Счетовод мне говорил: «Тебе министром быгть». Я действительно быстро понимаю, и память у меня хорошая.

Раскулачивание началось в двадцать девятом году, в конце года, а главный разворот стал в феврале — в марте тридцатого.

Вот вспомнила: прежде чем арестовывать, на них обложение сделали. Они раз выполнили, вытянули, во второй раз — продавали кто что мог, только чтобы выполнить. Им казалось — если выплатят, государство их помилует. Некоторые скотину резали, самогон из зерна гнали — пили, ели, все равно, говорили, жизнь пропала.

Может быть, в других областях по-иному было, а в нашей именно так шло. Начали арестовывать только глав семейств. Большинство взяли таких, кто при Деникине служил в казачьих частях. Аресты одно ГПУ делало, тут актив не участвовал. Первый набор весь расстреляли, никто не остался в живых. А тех, что арестовали в конце декабря, продержали в тюрьмах два-три месяца и послали на спецпереселение. А когда отцов арестовывали, семей не трогали, только делали опись хозяйства, и семья уже не считалась владеющей, а принимала хозяйство на сохранение.

Область спускала план — цифру кулаков — в районы, районы делили свою цифру сельсоветам, а сельсоветы уже списки составляли. Вот по этим спискам и брали. А кто составлял? Тройка. Мутные люди определяли — кому жить, кому смерть. Ну и ясно, — тут уж всего было: и взятки, и из-за бабы, и за старую оби-

ду. И получалось всегда — беднота попадала в кулаки, а кто побогаче — откупались.

А теперь я вижу, не в том беда, что, случалось, списки составляли жулики. Честных в активе больше было, чем жулья, а злодейство от тех и других было одинаковое. Главное, что все эти списки злодейские, несправедливые были, а уж кого в них вставить — не все ли равно. И Иван невинный, и Петр невинный. Кто эту цифру дал на всю Россию? Кто этот план дал на все крестьянство? Кто подписал?

Отцы сидят, а в начале тридцатого года семьи стали забирать. Тут уж одного ГПУ не хватало, актив мобилизовали, все свои же, люди знакомые, но они какие-то обалделые стали, как околдованные, пушками грозятся, детей кулацкими выблядками называют. «Кровососы!» кричат, а в кровососах со страху в самих ни кровинки не осталось, белые, как бумага. А глаза у актива, как у котов, стеклянные. И ведь в большинстве свои же. Правда, околдованные, — так себя уговорили, что касаться ничего не могут: полотенце — поганое, и за стол паразитский не сядут, и ребенок кулацкий омерзительный, и девушка хуже воши. И смотрят они на раскулачиваемых, как на скотину, на свиней, и все в кулаках отвратительно — и личность, и души в них нет, и воняет от кулаков, и все они венерические, а главное — враги народа и эксплуатируют чужой труд. А беднота, да комсомол, и милиция — это все чапаевы, одни герои, а посмотреть на этот актив: люди как люди, и сопливые среди них есть, и подлецов хватает.

На меня тоже стали эти слова действовать, девчонка совсем, а тут и на собрании, и специальный инструктаж, и по радио передают, и в кино показывают, и писатели пишут, и сам Сталин — все в одну точку: кулаки — паразиты, хлеб жгут, детей убивают. И прямо объявили: поднимать ярость масс против них, уничтожать их всех как класс, проклятых... И я стала околдовываться, и всё кажется: вся беда от кулаков, и если уничтожить их, сразу для крестьянства счастливое время наступит.

И никакой к ним жалости: они не люди, а не разберешь, что — твари. И я в активе стала. А в активе всего было: и такие, что верили и паразитов ненавидели, и за беднейшее крестьянство, и были, что свои дела обделывали, а больше всего, что приказ выполняли — такие и отца с матерью забьют, только бы исполнить по инструкции. И не те самые поганые, что верили в счастливую жизнь, если уничтожить кулаков. И лютые звери и те не самые страшные. Самые поганые, что на крови дела свои обделывали, кричали про сознательность, а сами личный счет сводили и грабили. И губили ради интереса, ради барахла, пары сапог, а погубить легко — напиши на него, и подписи не надо, что на него батрачили, или имел трех коров — и готов кулак. И все это я видела, волновалась, конечно, но в глубине не переживала — если бы на ферме скотину не по правилу резали, я бы волновалась, конечно, сильно, но сна бы не лишилась.

...Неужели не помнишь, как ты мне ответил? А я не забуду твоих слов. От них — видно, они дневные. Я спросила, как немцы могли у евреев детей в камерах душить, как они после этого могли жить, неужели ни от людей, ни от Бога так и нет им суда? А ты сказал: суд над палачом один — он на жертву свою смотрит не как на человека и сам перестает быть человеком, в себе самом человека казнит, он самому себе палач; а загубленный остается человеком на век, как его ни убивай. Вспомнил?

Я понимаю теперь, почему я в кухарки пошла, не захотела быть председателем колхоза. Да я и раньше тебе уже про это говорила.

И я вспоминаю теперь раскулачивание и по-другому вижу все — расколдовалась, людей увидела. Почему я такая заледенелая была? Ведь как люди мучились, что с ними делали! А я говорила: это не люди, это кулачье. А и вспоминаю, вспоминаю и думаю: кто слово такое придумал: кулачьё? неужели Ленин? Какую муку принял! Чтобы их убить, надо было объявить:

кулаки — не люди. Вот так же, как немцы говорили: жиды — не люди. Так и Ленин, и Сталин: кулаки не люди. Неправда это! Люди! Люди они! Вот что я понимать стала. Все люди!

Ну вот, в начале тридцатого года стали семьи раскулачивать. Самая горячка была в феврале и марте. Торопили из района, чтобы к посевной кулаков уже не было, а жизнь пошла по-новому. Так мы говорили: первая колхозная весна.

Актив, ясно, выселял. Инструкции не было, как выселять. Один председатель нагонит столько подвод, что имущества не хватало, звание — кулаки, а подводы полупустые шли. А из нашей деревни гнали раскулаченных пешком. Только, что на себя взяли, — постель, одежду. Грязь была такая, что сапоги с ног стаскивала. Нехорошо было на них смотреть. Идут колонной, на избы оглядываются, от своей печки тепло еще на себе несут; что они пережили — ведь в этих домах родились, в этих домах дочек замуж отдавали. Истопили печку, а щи недоваренные остались, молоко недопитое, а из труб еще дым идет, плачут женщины, а кричать боятся. А нам хоть бы что: актив — одно слово. Подгоняем их, как гусей. А сзади тележка — на ней Пелагея слепая, старичок Дмитрий Иванович, который лет десять через ноги из хаты не выходил, и Маруся-дурочка, парализованная, кулацкая дочь, ее в детстве копытом лошадь по виску ударила — и с тех пор она обомлела.

А в райцентре нехватка тюрем. Да и какая в райцентре тюрьма — каталажка. А тут еще ведь сила — из каждой деревни народная колонна. Кино, театр, клуб, школы под арестантов пошли. Но держали людей недолго. Погнали на вокзал, а там на запасных путях эшелоны ждали, порожняк товарный. Гнали под охраной — милиция, ГПУ, как убийц: дедушки да бабушки, бабы да дети, отцов-то нет, их еще зимой забрали. А люди шепчут: «кулачье гонят», словно на волков. И

кричали им некоторые: «вы — проклятые!», а они уже не плачут, каменные стали...

Как везли, я сама не видала, но от людей слышала, ездили наши за Урал, к кулакам в голод спасаться, я сама от подруги письмо получила; потом убегали из спецпереселения некоторые, я с двумя говорила...

Везли их в опечатанных теплушках, вещи шли отдельно, с собой только продукты взяли, что на руках были. На одной транзитной станции, подруга писала, отцов в эшелон посадили, была в тот день в этих теплушках радость великая и слезы великие... Ехали больше месяца: пути эшелонами забиты, со всей России крестьян везли. Впритир лежали, и нар не было в скотских вагонах. Конечно, больные умирали в дороге, не доезжали. Но главное, что кормили — на узловых станциях ведро баланды, хлеб двести грамм.

Конвой военный был. У конвоя — злобы не было, как к скотине, — так мне подруга писала.

А как там было, — мне это беглые рассказывали: область их разверстывала по тайге. Где деревушка лесная, — там нетрудоспособных в избы набили, тесно, как в эшелоне. А где деревни вблизи нет, — прямо на снег сгружали. Слабые помирали. А трудоспособные стали лес валить, пней, говорят, не корчевали, они не мешали. Деревья выкатывали и строили шалаши, балаганы, без сна почти работали, чтобы семьи не померзли; а потом уже стали избушки класть, две комнатки, каждая на семью. На мху клали, мхом шпаклевали.

Трудоспособных закупили у энкаведе леспромхозы, снабжение от леспромхоза, а на иждивенцев паек. Называлось трудовой поселок, — комендант, десятники. Платили, рассказывали, наравне с местными, но заработок весь на заборные книжки уходил. Народ могучий наш — стали скоро больше местных получать. Права не имели за пределы выйти — или в поселке, или на лесосеке. Потом уж, я слышала, в войну им разрешили в пределах района, а после войны разрешили

героям труда и вне района, кое-кому паспорта дали.

А подруга мне писала: из нетрудоспособного кулачества стали колонии сбивать — на самоснабжении. Но семена в долг дали и до первого урожая от энкаведе на пайке. А комендант и охрана обыкновенно — как в трудовых поселках. Потом их в артели перевели, у них там, помимо коменданта, выборные были.

А у нас новая жизнь без раскулаченных началась. Стали в колхоз сгонять — собрания с утра, крик, матерщина. Одни кричат: не пойдем! Другие: ладно уж, пойдем, только коров не отдадим. А потом пришла Сталина статья — головокружение от успехов. Опять каша: кричат — Сталин не велит силой в колхозы гнать. Стали на обрывках газет заявления писать: выбываю из колхоза в единоличные. А потом опять загонять в колхозы стали. А вещи, что остались от раскулаченных, большею частью раскрадывали.

И думали мы, что нет хуже кулацкой судьбы. Ошиблись! По деревенским топор ударил, как они стояли все, от мала до велика.

Голодная казнь пришла.

А я тогда уже не полы мыла, а счетоводом была. И меня, как активистку, послали на Украину для укрепления колхоза. У них, нам объяснили, дух частной собственности сильнее, чем в Рэсэфэсэр. И правда, у них еще хуже, чем у нас, дело шло. Послали меня не далеко — мы ведь на границе с Украиной, трех часов езды от нас до этого места не было. А место красивое. Приехала я туда — люди, как люди. И стала я в правлении ихним счетоводом.

Я во всем, мне кажется, разбиралась. Меня, видно, недаром старик министром называл. Это я тебе только говорю, потому что тебе, как себе, а постороннему человеку я никогда не похвастаюсь про себя. Всю отчетность я без бумаг в голове держала. И когда инструктаж был, и когда наша тройка заседала, и когда руководство водку пило, я все разговоры слушала.

Как было? После раскулачивания очень площади

упали и урожайность стала низкая. А сведения давали, будто без кулаков сразу расцвела наша жизнь. Сельсовет врет в район, район — в область, область — в Москву. Все как нужно: центр — области, области — по районам. И нам дали в село заготовку — за десять лет не выполнить! В сельсовете и те, что не пили, со страху перепились. Видно, Москва больше всего на Украину понадеялась. Потом на Украину и больше всего злобы было. Разговор-то известный — не выполнил, значит, сам недобитый кулак.

Конечно, поставки нельзя было выполнить — площади упали, урожайность упала, откуда же взять его, море колхозного зерна? Значит, спрятали! Недобитые кулаки, лодыри. Кулаков убрали, а кулацкий дух остался. Частная собственность у хохла в голове — хозяйка.

Кто убийство массовое подписал? Я часто думаю — неужели Сталин? Я думаю, такого приказа, сколько Россия стоит, не было ни разу. Такого приказа не то что царь, и татары, и немецкие оккупанты не подписывали. А приказ — убить голодом крестьян на Украине, на Дону, на Кубани, убить с малыми детьми. Указание было забрать и семенной фонд весь. Искали зерно, как будто не хлеб это, а бомбы, пулеметы. Землю истыкали штыками, шомполами, все подполы перекопали, все полы повзламывали, в огородах искали. У некоторых забирали зерно, что в хатах было, — в горшки, в корыта насыпано. У одной женщины хлеб печеный забрали, погрузили на подводу и тоже в район отвезли. Днем и ночью подводы скрипели, пыль над всей землей висела, а элеваторов не было, ссыпали на землю, а кругом часовые ходят. Зерно к зиме от дождя намокло, гореть стало — не хватило у советской власти брезента мужицкий хлеб прикрыть.

А когда еще из деревень везли зерно, кругом пыль поднялась, все в дыму: и село, и поле, и луна ночью. Один с ума сошел: горит, небо горит, земля горит! Кричит! Нет, небо не горело, это жизнь горела.

Вот тогда я поняла: первое для советской власти —

план. Выполни план! Сдай разверстку, поставки! Первое дело — государство. А люди — нуль без палочки.

Отцы и матери хотели детей спасти, хоть немного хлеба спрятать, а им говорят: у вас лютая ненависть к стране социализма, вы план хотите сорвать, тунеядцы, подкулачники, гады. Не план сорвать, детей хотим спасти, самим спастись. Кушать ведь людям нужно.

Рассказать я все могу, только в рассказе — слова, а это — жизнь, мука, смерть голодная. Между прочим, когда забирали хлеб, объясняли активу, что из фондов кормить будут. Неправда это была. Ни зерна голодным не дали.

Кто отбирал хлеб? Большинство свои же: из рика, из райкома, ну комсомол, свои же ребята, хлопцы, конечно, милиция, энкаведе, кое-где войска даже были, я одного мобилизованного московского видела, но он не старался как-то, все стремился уехать. И опять, как при раскулачивании, люди все какие-то обалделые, озверелые стали.

Гриша Саенко, милиционер, он на местной деревенской был женат и приезжал гулять на праздник, веселый и хорошо танцевал танго и вальс, и пел украинские песни деревенские. А тут к нему подошел дедушка совсем седенький и стал говорить: «Гриша, вы нас всех занищиваете, это хуже убийства. Почему рабоче-крестьянская власть такое против крестьянства делает, чего царь не делал?..» Гриша пихнул его, а потом пошел к колодцу руки мыть, сказал людям: «Как я буду ложку рукой брать, когда я этой паразитской морды касался».

А пыль — и ночью, и днем пыль, пока хлеб везли. Луна — в полнеба камень, и от этой луны все диким кажется, и жарко так ночью, как под овчиной, и поле хоженное-перехоженное, как смертная казнь страшное.

И люди стали какие-то растерянные, и скотина какая-то дикая, пугается, мычит, жалуется, и собаки выли сильно по ночам. И земля потрескалась.

Ну вот, а потом осень пришла без дождя, а потом зима снежная. А хлеба нет.

И в райцентре не купить, потому что карточная система. И на станции не купишь, в палатке, — потому что военизированная охрана не подпускает. А коммерческого хлеба нет.

С осени стали нажимать на картошку, без хлеба быстро она пошла. А к Рождеству начали скотину резать. Да и мясо это — на костях, тощее. Курей порезали, конечно. Мясцо быстро подъели, а молочка глоточка не стало, по всей деревне яичка не достанешь. А главное — без хлеба. Забрали хлеб у деревни до последнего зерна. Ярового нечем сеять, семенной фонд до зернышка забрали. Вся надежда на озимые. Озимые под снегом еще, весны не видно, а уж деревня в голод входит. Мясо съели, пшено, что было, подъедают вчистую, картошку, у кого семьи большие, съели всю.

Ужас сделался. Матери смотрят на детей и от страха кричать начинают. Кричат, будто змея в дом вползла. А эта змея — смерть, голод. Что делать? А в голове у селян только одно — что бы покушать. Сосет, челюсти сводит, слюна набегает, все глотаешь ее, да слюной не накушаешься. Ночью проснешься, кругом тихо, ни разговору, ни гармошки. Как в могиле. Только голод ходит, не спит. Дети по хатам с самого утра плачут — хлеба просят. А что мать им даст — снегу? А помощи ни от кого. Ответ у партийных один — работать надо было, лодырничать не надо было. А еще отвечали: у себя самих поищите, в вашей деревне хлеба закопали на три года.

Но зимой еще настоящего голода не было. Конечно, вялые стали, животы вздуло от картофельных очистков, но опухших не было. Стали желуди из-под снега копать, сушили их, а мельник развел жернов пошире, молол желуди на муку. Из желудей хлеб пекли ,вернее, лепешки. Они темные очень, темнее ржаного хлеба. Кое-кто добавлял отрубей или картофельных очистков, толченых. Желуди быстро кончились — дубовый лесок небольшой, а в него сразу три деревни кинулись. А приехал из города уполномоченный и в сельсовете

говорит: вот паразиты, из-под снега голыми руками желуди таскают, только бы не работать.

В школу старшие классы почти до самой весны ходили, а младшие зимой перестали. А весной школа закрылась — учительница в город уехала. И с медпункта фельдшер уехал: кушать стало нечего. Да и не вылечишь голода лекарствами. Деревня одна осталась — кругом пустыня и голодные в избах. И представители разные из города ездить перестали — чего ездить? Взять с голодных нечего, значит, и ездить не надо. И лечить не надо, и учить не надо. Раз с человека держава взять ничего не может, — он становится бесполезным. Зачем его учить да лечить?

Сами остались, отошло от голодных государство. Стали люди по деревням ходить, просить друг у друга, нищие у нищих, голодные у голодных. У кого детей поменьше или одинокие, у таких кое-что к весне оставалось, вот многодетные у них и просили. И случалось, давали горстку отрубей или картошек парочку. А партийные не давали — и не от жадности или по злобе, боялись очень. А государство зернышка голодным не дало, а оно ведь на крестьянском хлебе стоит. Неужели Сталин про это знал? Старики рассказывали: голод бывал при Николае — все же помогали, и в долг давали, и в городах крестьянство просило Христа ради, кухни такие открывали, и пожертвования студенты собирали. А при рабоче-крестьянском правительстве зернышка не дали, по всем дорогам заставы и войска, милиция, энкаведе: не пускают голодных из деревень, к городу не подойдешь, вокруг станции охрана, на самых малых полустанках охрана. Нету вам, кормильцы, хлеба. А в городе по карточкам рабочим по восемьсот грамм давали. Боже мой, мыслимо ли это — столько хлеба — восемьсот грамм! А деревенским детям ни грамма. Вот как немцы детей еврейских в газу душили — вам не жить, вы жиды. А здесь совсем не поймешь: тут советские — и тут советские, и тут русские — и тут русские, и власть рабоче-крестьянская, а за что же эта погибель.

А когда снег таять стал, вошла деревня по горло в голод.

Дети кричат, не спят: и ночью хлеба просят. У людей лица, как земля, глаза мутные, пьяные. И ходят сонные, ногой землю щупают, рукой за стенку держатся. Шатает голод людей. Меньше стали ходить, все больше лежат. И все им мерещится — обоз скрипит, из райцентра прислал Сталин муку — детей спасать.

Бабы крепче оказались мужчин, злее за жизнь цеплялись. А досталось им больше — дети кушать у матерей просят. Некоторые женщины уговаривают, целуют детей: «ну, не кричите, терпите, где я возьму?» Другие, как бешеные становятся: «не скули, убью!», и били чем попало, только бы не просили. А некоторые из дому выбегали, у соседей отсиживались, чтобы не слышать детского крика.

К этому времени кошек и собак не осталось — забили. И ловить их было трудно — они опасались людей, глаза дикие у них стали. Варили их, жилы одни сухие, из голов студень вываривали.

Снег стаял, и пошли люди опухать, пошел голодный отек — лица пухлые, ноги, как подушки, в животе вода, мочатся все время — на двор не успевают выходить. А крестьянские дети! Видел ты, в газете печатали — дети в немецких лагерях? Одинаковы: головы, как ядра, тяжелые, шеи тонкие, как у аистов, на руках и ногах видно, как каждая косточка под кожей ходит, как двойные соединяются, весь скелет кожей, как желтой марлей, затянут. А лицо у детей старенькое, замученное, словно младенцы семьдесят лет на свете уже прожили, а к весне уже не лица стали: то птичья головка с клювиком, то лягушачья мордочка — губы тонкие, широкие, третий, как пескарик, — рот открыт. Не человеческие лица. А глаза, Господи! Товарищ Сталин, Боже мой, видел ли ты эти глаза? Может быть, и в самом деле он не знал, он ведь статью написал про головокружение.

Чего только ни ели — мышей ловили, крыс лови-

ли, гадюк, воробьев, муравьев, земляных червей копали, стали кости на муку толочь, кожу, подошву, шкуры старые вонючие на лапшу резать, клей вываривали. А когда трава поднялась, стали копать корни, варить листья, почки — все в ход пошло: и одуванчик, и лопух, и колокольчик, и иван-чай, и сныть, и борщевик, и крапива, и очиток. Липовый лист сушили, толкли на муку, но у нас липы мало было. Лепешки из липы — зеленые, хуже желудевых.

А помощи нет! Да тогда уж не просили! Я и теперь, когда про это думать начинаю, с ума схожу — неужели отказался Сталин от людей? На такое страшное убийство пошел. Ведь хлеб у Сталина был. Значит, нарочно убивали голодной смертью людей. Не хотели детям помочь. Неужели Сталин хуже Ирода был? Неужели, думаю, хлеб да зерно отнял, а потом убил людей голодом? Нет, не может такого быть. А потом думаю: было, было! И тут же — нет, не могло того быть.

Вот когда еще не обессилели, ходили полем к железной дороге, не на станцию, на станцию охрана не пускала, а прямо на пути. Когда идет скорый поезд Киев-Одесса, на колени становятся и кричат: хлеба, хлеба! Некоторые своих страшных детей поднимают. И случалось, бросали люди куски хлеба, объедки разные. Отгрохочет, пыль уляжется, и ползет деревня вдоль пути, корки ищет. Но потом вышло распоряжение: когда поезд через голодные области шел, охрана окна закрывала и занавески опускала. Не допускали пассажиров к окнам. Да и сами деревенские ходить перестали — сил не стало не то что до рельсов дойти, а из хаты во двор выползти.

Я помню, один старик принес председателю кусок газеты, подобрал его на путях. И там заметка: француз приехал, министр знаменитый, и его повезли в Днепропетровскую область, где самый страшный мор был, еще хуже нашего, там люди людей ели, и вот в село его привезли, в колхозный детский садик, и он спрашивает: «Что вы сегодня на обед кушали»? А дети

отвечают: «Куриный суп с пирожком и рисовые котлеты». Я сама читала, вот как сейчас вижу этот кусок газеты. Что ж это? Убивают, значит, на тихаря миллионы людей и весь свет обманывают! Куриный суп, пишут! Котлеты! А тут червей всех съели. А старик председателю сказал: «При Николае на весь свет газеты про голод писали: 'помогите, крестьянство гибнет!' А вы, ироды, театры представляете».

Завыло село, увидело свою смерть. Всей деревней выли — не разумом, не душой, а как листья от ветра шумят, или солома скрипит. И тогда меня зло брало — почему они так жалобно воют, уж не люди стали, а кричат так жалобно. Надо каменной быть, чтобы слушать этот вой и свой пайковый хлеб кушать. Бывало, выйду с пайкой в поле, и слышно: воют. Пойдешь дальше, вот-вот, кажется, стихло, пройду еще: и опять слышно становится, — это уж соседняя деревня воет. И кажется — вся земля вместе с людьми завыла. Бога нет, кто услышит?

Мне один энкаведе сказал: «Знаешь, как в области ваши деревни называют? Кладбище суровой школы». Но я сперва не поняла этих слов.

А погода какая стояла хорошая! В начале лета шли дожди, такие быстрые, легкие, солнце жаркое вперемежку с дождем, и от этого пшеница стеной стояла, топором ее руби, и высокая, выше человеческого роста. В это лето радуги сколько я нагляделась, и грозы, и дождя теплого, цыганского.

Гадали все зимой, будет ли урожай, стариков расспрашивали, примеры перебирали — вся надежда была на озимую пшеницу. И надежда оправдалась, а косить не смогли. Зашла я в избу. Люди лежат, то ли еще дышат, то ли уже не дышат, кто на кровати, кто на печке, а хозяйская дочь, я ее знала, лежит на полу в каком-то беспамятстве, зубами грызет ножку у табуретки. И так страшно это — услышала она, что я вошла, не оглянулась, а заворчала, как собака ворчит, если к ней подходят, когда она кость грызет.

Пошел по селу сплошной мор. Сперва дети, старики, потом средний возраст. Вначале закапывали, потом уж не стали закапывать. Так мертвые и валялись на улицах, во дворах, а последние в избах остались лежать. Тихо стало. Умерла вся деревня. Кто последним умирал, я не знаю. Нас, которые в правлении работали, в город забрали.

Попала я сперва в Киев. Стали как раз в эти дни коммерческий хлеб давать. Что делалось! Очереди по полкилометра с вечера становились. Очереди, знаешь, разные бывают — в одной стоят, посмеиваются, семечки грызут, в другой номера на бумажку списывают, в третьей, где не шутят, на ладони пишут либо на спине мелом. А тут очереди особые — я таких больше не видела: друг дружку обхватывают за пояс и стоят один к одному. Если кто оступится, всю очередь шатанет, как волна по ней проходит. И словно танец начинается — из стороны в сторону. И все сильней качаются. Им страшно, что не хватит силы за передового цепляться и руки разожмутся, — и от этого страха женщины кричать начинают, и так вся очередь воет, и кажется, они с ума посходили и поют да танцуют. А то шпана в очередь врывается: смотрят, где цепь легче порвать. И когда шпана подходит, все снова воют от страха, и кажется, что они поют. В очереди за коммерческим хлебом стоял народ городской — лишенцы, беспартийные, ремесло, либо пригородные.

А из деревни ползет крестьянство. На вокзалах оцепление, все составы обыскивают. На дорогах всюду заставы — войска, энкаведе, а все равно добираются до Киева — ползут полем, целиной, болотами, лесочками, только бы заставы миновать на дорогах. На всей земле заставы не поставишь. Они уж ходить не могут, а только ползут. Народ спешит по своим делам: кто на работу, кто в кино, трамваи ходят, а голодные среди народа ползут — дети, дядьки, дивчины, и кажется — это не люди, какие-то собачки или кошечки паскудные на четвереньках. А оно еще хочет по-человечески, стыд

имеет, дивчина ползет опухшая, как обезьяна: скулит, а юбку поправляет, стыдится, волосы под платок прячет — деревенская, первый раз в Киев попала. Но это счастливые доползли, один на десять тысяч. И все равно им спасения нет — лежит голодный на земле, шипит, просит, а кушать он не может, краюшка рядом, а он уже ничего не видит, доходит.

По утрам ездили платформы, битюги, собирали, которые за ночь умерли. Я видела одну платформу — дети на ней сложены. Вот как я говорила — тоненькие, длинненькие, личики, как у мертвых птичек, клювики острые. Долетели эти пташки до Киева, а что толку. А были среди них — еще пищали, головки, как налитые, мотаются. Я спросила возчика, он рукой махнул: пока довезу до места — притихнут.

Я видела — дивчина одна поползла поперек тротуара, ее дворник ногой ударил, она на мостовую скатилась. И не оглянулась даже, ползет быстро, старается, откуда еще сила. И еще платье отряхивает, запылилась, видишь. А я в этот день газету московскую купила, прочла статью Максима Горького, что детям нужны культурные игрушки. Неужели Максим Горький не знал про тех детей, что битюги на свалку возили — им, что ли, игрушки? А может быть, он знал? И так же молчал, как все молчали. И так же писал, как те писали, будто эти мертвые дети едят куриный суп. Мне этот ломовой сказал: больше всего мертвых возле коммерческого хлеба — сжует опухший кусочек, и готов. Запомнился мне Киев этот, хоть я там всего три дня пробыла.

Вот что я поняла. Вначале голод из дому гонит. В первое время он, как огонь, печет, терзает, и за кишки, и за душу рвет — человек и бежит из дому. Люди червей копают, траву собирают, видишь, даже в Киев прорывались. И все из дому, все из дому. А приходит такой день, и голодный обратно к себе в хату заползает. Это значит: осилил голод, и человек уже не спасается, ложится на постель и лежит. И раз человека голод оси-

лил, его не подымешь, и не только оттого, что сил нет — нет ему интереса, жить не хочется. Лежит себе тихо, и не тронь его. И есть голодному не хочется, мочится все время и понос, и голодный становится сонный, не тронь его, только бы тихо было. Лежат голодные и доходят. Это рассказывали и военнопленные — если ложится пленный боец на нары, за пайкой не тянется, значит, конец ему скоро. А на некоторых безумие находило. Эти уж до конца не успокаивались. Их по глазам видно — блестят. Вот такие мертвых разделывали и варили, и своих детей убивали и съедали. В этих зверь поднимался, когда человек в них умирал. Я одну женщину видела, в райцентр ее привезли под конвоем — лицо человечье, а глаза волчьи. Их, людоедов, говорили, расстреливали всех поголовно. А они не виноваты, виноваты те, что довели мать до того, что она своих детей ест. Да разве найдешь виноватого — кого ни спроси. Это ради хорошего, ради всех людей, матерей довели.

Я тогда увидела: всякий голодный — он, вроде, людоед. Мясо сам с себя объедает — одни кости остаются, жир до последней капельки. Потом он разумом темнеет — значит, и мозги свои съел. Съел голодный себя всего.

Еще я думала — каждый голодный по-своему умирает. В одной хате война идет, друг за другом следят, друг у дружки крохи отнимают. Жена на мужа, муж против жены. Мать детей ненавидит. А в другой хате любовь нерушимая. Я знала одну такую: четверо детей, она сказки им рассказывает, чтобы про голод забыли, а у самой язык не ворочается, она их на руки берет, а у самой силы нет пустые руки поднять. А любовь в ней живет. И замечали люди — где ненависть, там скорей умирали. Э, да что любовь, тоже никого не спасла, вся деревня поголовно легла. Не осталось жизни.

Я узнала потом — тихо стало в деревне нашей. И детей не слышно. Там уж ни игрушек, ни супа куриного не надо. Не выли. Некому. Узнала, что пшеницу войска косили, только красноармейцев в мертвую деревню не пускали, в палатках стояли. Им объяснили,

что эпидемия была. Но они жаловались, что от деревни запах ужасный идет. Войска и озимые посеяли. А на следующий год привезли переселенцев из Орловской области — земля ведь украинская, чернозем, а у орловских всегда недород. Женщин с детьми оставили возле станции в балаганах, а мужчин повезли в деревню. Дали им вилы и велели по хатам ходить тела вытаскивать — покойники лежали, мужчины и женщины, кто на полу, кто на кроватях. Запах страшный в избах стоял. Мужики себе рты и носы платками завязывали — стали вытаскивать тела, а они на куски разваливаются. Потом закопали эти куски за деревней. Вот тогда я поняла — это и есть кладбище суровой школы. Когда очистили от мертвых избы, привели женщин полы мыть, стены белить. Все сделали как надо, а запах стоит. Второй раз побелили, и полы новой глиной мазали, не уходит запах. Не смогли они в этих хатах ни есть, ни спать, вернулись в Орловскую область. Но, конечно, земля пустой не осталась, — земля ведь какая.

И словно не жили. А многое чего было. И любовь, и жены от мужей уходили, и дочерей замуж отдавали, и дрались пьяными, и гости приезжали, и хлеб пекли... А работали как! И песни спевали. И дети в школу ходили... И кинопередвижка приезжала, самые старые и те ходили картины смотреть.

И ничего не осталось. А где же эта жизнь, где страшная мука? Неужели ничего не осталось? Неужели никто не ответит за все это? Вот так и забудется без слов? Травка выросла.

Вот я тебя спрашиваю, как же это?

Вот видишь, и прошла наша ночка, уже светает. Пора нам с тобой на работу собираться.

Марина Цветаева

НА СМЕРТЬ МАЯКОВСКОГО

Зерна огненного цвета
Брошу на ладонь,
Чтоб предстал он
в бездне света —
Красный, как огонь.

Советским вельможей,
При полном синоде:
— Здорово, Сережа!
— Здорово, Володя!

Умаялся? — Малость.
— По общим? — По личным.
— Стрелялось? — Прилично.
— Горелось? — Отлично.

— Так, стало быть, пожил?
Пас в некотором роде?
— Негоже, Сережа!
— Негоже, Володя.

А помнишь, как матом
Во весь свой эстрадный
Басище меня-то
Обкладывал? — Ладно

Уж... — Вот те и шлюпка,
Любовная лодка!
Ужель из-за юбки?
— Хужей, из-за водки.

Это стихотворение Марины Цветаевой публикуется впервые. — Ред.

— Опухшая рожа,
С тех пор и на взводе.
— Негоже, Сережа.
— Негоже, Володя.

— А впрочем, — не бритва,
Сработано чисто.
— Так, стало быть, бита
Картишка? — Сочится.

— Приложь подорожник.
— Хорош и коллодий.
Приложим, Сережа?
— Приложим, Володя.

А что на Рассее —
На матушке? — То-есть
Где? — В Эсэсэсэре
Что нового? — Строят.

Родители — ро́дят.
Вредители — то́чат.
Издатели — водят.
Писатели — строчат.

Мост новый заложен,
Да смыт половодьем.
Всё то же, Сережа!
— Всё то же, Володя.

А певчая стая?
— Народ, знаешь, тертый!
Нам лавры сплетая,
У нас, как у мертвых,

Прут. Старую Росту
Да завтрашним лаком.
Ведь не обойдешься
С одним Пастернаком.

Хошь, руку приложим
На ихнем безводье?
Приложим, Сережа?
— Приложим, Володя.

— Еще тебе кланяется...
А что добрый
Наш Льсан Алексаныч?
— Вон — ангелом! Федор

Кузьмич? — На канале
По красные щеки
Вошел. — Гумилев Николай?
— На Востоке.

(В кровавой рогоже,
На полной подводе...)
Всё то же, Сережа.
— Всё то же, Володя.

А коли всё то же,
Володя, мил друг мой, —
Вновь руки наложим,
Володя, хоть рук и
Нет.

— Хоть и нету,
Сережа, мил брат мой,
Под царство и э т о
Подложим гранату!

НА СМЕРТЬ МАЯКОВСКОГО

И на растревоженном
Нами Восходе —
Заложим, Сережа?
— Заложим, Володя!

Много храмов разрушил,
А этот — це́нней всего.
Упокой, Господи, душу
Усопшего врага Твоего.

Савойя. Август 1930.

Аркадий Стругацкий

Борис Стругацкий

СКАЗКА О ТРОЙКЕ

Повесть

Эта история началась с того, что однажды в разгар рабочего дня, когда я потел над очередной рекламацией в адрес Китежградского завода маготехники, у меня в кабинете объявился мой друг Эдик Амперян. Как человек вежливый и воспитанный, он не возник бесцеремонно прямо на колченогом стуле для посетителей, не ввалился нагло через стену и не ворвался в раскрытую форточку в обличье булыжника, пущенного из катапульты. В большинстве мои друзья постоянно куда-то спешили, что-то не успевали, где-то опаздывали, а потому возникали, вламывались и врывались с совершенной непринужденностью, пренебрегая обыкновенными коммуникациями. Эдик был не из таких: он скромно вошел в дверь. Он даже предварительно постучал, но у меня не было времени ответить.

Он остановился передо мною, поздоровался и спросил:

— Тебе все еще нужен Черный Ящик?

— Ящик? — пробормотал я, не в силах оторваться от рекламации. — Как тебе сказать... Какой, собственно, ящик?

Впервые «Сказка о тройке» А. и Б. Стругацких была напечатана в провинциальном советском журнале «Ангара» №№ 4 и 5, в 1968 г. За опубликование этого произведения главный редактор «Ангары» Ю. С. Самсонов был снят с поста, а редакция журнала разгромлена.

Ред.

— Кажется, я мешаю, — осторожно сказал вежливый Эдик. — Ты меня извини, но меня послал шеф... Дело в том, что примерно через час будет произведен первый запуск лифта новой системы за пределы тринадцатого этажа. Нам предлагают воспользоваться.

Мозг мой был все еще окутан ядовитыми парами рекламационной фразеологии, и потому я только тупо проговорил:

— Какой лифт должен был быть отгружен в наш адрес еще тринадцатого этажа сего года...

Однако затем первые десятки битов Эдиковой информации достигли моего серого вещества. Я положил ручку и попросил повторить. Эдик терпеливо повторил.

— Это точно? — спросил я замирающим шепотом.

— Абсолютно, — сказал Эдик.

— Пошли, — сказал я, вытаскивая из стола папку с копиями своих заявок.

— Куда?

— Как — куда? На семьдесят шестой!

— Не вдруг, — сказал Эдик, покачав головой. — Сначала надо зайти к щефу.

— Зачем это?

— Он попросил зайти. С этим семьдесят шестым этажом какая-то история. Шеф хочет нас напутствовать.

Я пожал плечами, но спорить не стал. Я надел пиджак, извлек из папки заявку на Черный Ящик, и мы отправились к Эдикову шефу, Федору Симеоновичу Киврину, заведующему отделом Линейного Счастья.

На лестничной площадке первого этажа перед решетчатой шахтой лифта царило необычное оживление. Дверь шахты была распахнута, дверь кабины — тоже, горели многочисленные лампы, сверкали зеркала, тускло отсвечивали лакированные поверхности. Под старым, уже поблекшим транспарантом «Сдадим лифт к празднику!» толпились любопытные и жаждущие покататься. Все почтительно внимали замдиректора по АХЧ Модесту Матвеевичу Камноедову, произносивше-

му речь перед строем монтеров Соловецкого котлонадзора.

— ...Это надо прекратить, — внушал Модест Матвеевич. — Это лифт, а не всякие там спектроскопы-микроскопы. Лифт есть мощное средство передвижения, это первое. А также средство транспорта. Лифт должен быть как самосвал: приехал, вывалил и обратно. Это во-первых. Администрации давно известно, что многие товарищи ученые, в том числе и отдельные академики, лифтом эксплуатировать не умеют. С этим мы боремся, это мы прекращаем. Экзамены на право вождения лифта, невзирая на прошлые заслуги... учреждение звания отличного лифтовода... и так далее. Это во-вторых. Но монтеры со своей стороны должны обеспечить бесперебойность. Нечего, понимаете, ссылаться на объективные обстоятельства. У нас лозунг: лифт для всех. Невзирая на лица. Лифт должен выдерживать прямое попадание в кабину самого необученного академика.

Мы пробрались через толпу и двинулись дальше. Торжественная обстановка этого импровизированного митинга произвела на меня большое впечатление. Чувствовалось, что сегодня лифт, наконец, действительно заработает и будет работать, может быть, целые сутки. Это было знаменательно. Лифт всегда был ахиллесовой пятой нашего Института и лично Модеста Матвеевича. Собственно, ничем особенным он не отличался. Лифт был как лифт, со своими достоинствами и своими недостатками. Как и полагается порядочному лифту, он постоянно норовил застрять между этажами, вечно был занят, вечно пережигал ввинченные в него лампочки, требовал безукоризненного обращения с шахтными дверьми, и, входя в кабину, никто не мог сказать с уверенностью, где и когда удастся выйти. Но была у нашего лифта одна особенность. Он терпеть не мог подниматься выше двенадцатого этажа. То есть, конечно, история Института знала случаи, когда отдельные умель-

цы ухитрялись взнуздать строптивый механизм и, дав ему шенкеля, поднимались на совершенно фантастические высоты. Но для массового человека вся бесконечная громада Института выше двенадцатого этажа оставалась сплошным белым пятном. Об этих территориях, почти полностью отрезанных от мира и административного влияния, ходили всевозможные, зачастую противоречивые слухи. Так утверждалось, например, что сто двадцать четвертый этаж имеет выход в соседствующее пространство с иными физическими свойствами, на двести тринадцатом этаже обитает якобы неведомое племя алхимиков — идейных наследников знаменитого «Союза Девяти», учрежденного просвещенным индийским царем Ашокою; а на тысяча семнадцатом до сих пор живут себе не тужат у самого Синего Моря старик, старуха и золотые мальки Золотой Рыбки.

Лично меня, как и Эдика, больше всего интересовал семьдесят шестой этаж. Там, согласно инвентарной ведомости, хранился Идеальный Черный Ящик, необходимый для вычислительной лаборатории, а также проживал некий говорящий клоп, в котором крайне и давно нуждался отдел Линейного Счастья. Насколько нам известно, на семьдесят шестом этаже размещалось нечто вроде склада дефицитных явлений природы и общества, и многие наши сотрудники вожделели попасть туда и запустить хищные руки свои в эту сокровищницу. Федор Симеонович, например, грезил о раскинувшихся якобы там гектарах гранулированной Почвы для Оптимизма. Ребятам из отдела Социальной Метеорологии позарез нужен был хотя бы один квалифицированный Холодный Сапожник — а там их значилось трое, и все как один с эффективной температурой, близкой к абсолютному нулю. Кристобаль же Хозевич Хунта, заведующий отделом Смысла Жизни и доктор самых неожиданных наук, рвался выловить на семьдесят шестом уникальный экземпляр так называемой Мечты Бескрылой Приземленной, дабы набить

из нее чучело. Шесть раз за последние четверть века он пытался пробиться на семьдесят шестой этаж напролом через перекрытия, используя свои исключительные способности к вертикальной трансгрессии, но даже ему не удалось: все этажи выше двенадцатого были, в соответствии с хитроумным замыслом древних архитекторов, наглухо блокированы для всех видов трансгрессии. Таким образом, успешный запуск лифта означал бы новый этап в жизни нашего коллектива.

Мы остановились перед кабинетом Федора Симеоновича, и старенький домовой Тихон, чистенький и благообразный, приветливо распахнул перед нами дверь. Мы вошли.

Федор Симеонович был не один. За его обширным рабочим столом сидел, небрежно развалясь в покойном кресле, оливковый Кристобаль Хозевич и сосал пахучую гаванскую сигару. Сам Федор Симеонович, заложив большие пальцы за яркие подтяжки, расхаживал по кабинету, опустив голову и стараясь ступать по самому краю шемаханского ковра. На столе красовались в хрустальных вазах райские плоды: крупные румяные яблоки Познания Зла и совершенно несъедобные на вид, но тем не менее всегда червивые яблоки Познания Добра. Фарфоровый сосуд у локтя Кристобаля Хозевича был полон огрызков и окурков.

Обнаружив нас, Федор Симеонович остановился.

— А вот и они с-сами, — произнес он без обычной улыбки. — П-прошу садиться. В-время дорого. К-камноедов этот — болтун, но он с-скоро закончит. К-кристо, изложи об-бстоятельства, а то у меня это всегда п-плохо получается.

Мы сели. Кристобаль Хозевич, прищуря правый глаз от дыма, оценивающе оглядел нас.

— Изволь, изложу, — сказал он Федору Симеоновичу. — Обстоятельства дела, молодые люди, таковы, что первыми на семьдесят шестой этаж надлежало бы отправиться нам, людям опытным и умелым. К сожалению, по мнению администрации, мы слишком стары и

слишком уважаемы для первого испытательного запуска. Поэтому отправитесь вы, и я вас сразу предупреждаю, что это не простая прогулка, что это разведка, может быть, разведка боем. От вас потребуется выдержка, отвага и предельная осмотрительность. Лично я не наблюдаю в вас этих качеств, однако готов уступить рекомендации Федора Симеоновича. И во всяком случае, вы должны знать, что скорее всего вам придется действовать на территории врага — врага неумолимого, жестокого и ни перед чем не останавливающегося.

От такого вступления у меня мурашки пошли по коже, но тут Кристобаль Хозевич принялся излагать, как обстоит дело.

А дело обстояло следующим образом. На семьдесят шестом этаже располагался, оказывается, древний город Тьмускорпионь, захваченный в свое время в качестве трофея мстительным Вещим Олегом. Спокон веков Тьмускорпионь была средоточием странных явлений и ареной странных событий. Почему это происходило — неизвестно, но все, что на каждом этапе научного, технического и социального прогресса не могло быть разумно объяснено, попадало именно туда для хранения до лучших времен. Так что еще во времена Петра Великого, одновременно с учреждением в Санкт-Питербурхе знаменитой Кунсткамеры и в подражание ей, тогдашняя соловецкая администрация в лице бомбардир-поручика Птахи и его полуроты гренадер учредила в Тьмускорпиони «Его Императорского Величества Пречудесных и Преудивительных Кунштов Камеру с острогом и двумя банями». В те времена семьдесят шестой этаж был вторым, о лифтах никто слыхом не слыхал, и в «Е. И. В. Кунштов Камеру» попасть было гораздо легче, чем в баню. В дальнейшем же, по мере повсеместного роста Здания Науки, доступ туда все более затруднялся, а с появлением лифта прекратился почти вовсе. А между тем «Кунштов Камера» все росла, обогащаясь новыми экспонатами, превратилась при

Екатерине Второй в «Зоологических и Прочих Чудес Натуры Императорский Музеум», затем при Александре Втором — в «Российский Императорский Заповедник Магических, Спиритических и Оккультных Феноменов» и, наконец, в Государственную Колонию Необъясненных Явлений при НИИЧАВО Академии Наук. Разрушительные последствия изобретения лифта мешали использовать эту сокровищницу для научных целей. Деловая переписка с тамошней администрацией была чрезвычайно затруднена и имела неизбежно затяжной характер: спускаемые сверху тросы с корреспонденцией рвались под собственной тяжестью, почтовые голуби отказывались летать так высоко, радиосвязь была неуверенной из-за отсталости Тьмускорпионской техники, а применение воздухоплавательных средств приводило лишь к расходу дефицитного гелия... Впрочем, все это была только история.

Примерно двадцать лет назад взыгравший лифт забросил на семьдесят шестой этаж инспекционную комиссию Соловецкого горкомхоза, скромно направлявшуюся обследовать забитую канализацию в лабораториях профессора Выбегаллы на четвертом этаже. Что в точности произошло — осталось неизвестным. Сотрудник Выбегаллы, дожидавшийся комиссию на лестничной площадке, рассказал, что кабина лифта с безумным ревом пронеслась вверх по шахте, за стеклянной дверцей мелькнули искаженные лица, и страшное видение исчезло. Ровно через час кабина была обнаружена на двенадцатом этаже, взмыленная, всхрапывающая и еще дрожащая от возбуждения. Комиссии в кабине не было, к стенке канцелярским клеем была прилеплена записка на обороте «Акта о неудовлетворительном состоянии». В записке значилось: «Выхожу на обследование. Вижу странный камень. Тов. Фарфуркису объявлен выговор за уход в кусты. Председатель комиссии Л. Вунюков».

Долгое время никто не знал, где, собственно, покинул кабину Л. Вунюков с подчиненными. Приходила

милиция, было много неприятностей. Потом, месяц спустя, на крыше кабины обнаружили два запечатанных пакета, адресованных заведующему горкомхозом. В одном пакете содержалась пачка приказов на папиросной бумаге, в которых объявлялись выговора то товарищу Фарфуркису, то товарищу Хлебовводову — большей частью за проявления индивидуализма и за какую-то непонятную «зубовщину». Во втором пакете находились материалы обследования состояния канализации Тьмускорпиони (состояние признавалось неудовлетворительным) и заявления в бухгалтерию о начислении высокогорных и дополнительных командировочных. После этого корреспонденция сверху стала поступать довольно регулярно. Сначала это были протоколы заседаний инспекционной комиссии горкомхоза, потом протоколы заседаний просто инспекционной комиссии, потом — Особой комиссии по расследованию обстоятельств, потом вдруг — Временной Тройки по расследованию деятельности коменданта Колонии Необъясненных Явлений г. Зубо и, наконец, после трех подряд докладных «о преступной небрежности», Л. Вунюков подписался в качестве председателя Тройки по Рационализации и Утилизации Необъясненных Явлений (ТПРУНЯ). Сверху перестали спускать протоколы и принялись спускать циркуляры и указания. Бумаги эти были страшны как по форме, так и по содержанию. Они неопровержимо свидетельствовали о том, что бывшая комиссия горкомхоза узурпировала власть в Тьмускорпиони и что распорядиться этой властью разумно она была не в состоянии.

— Главная опасность заключается в том, — размеренным голосом продолжал Кристобаль Хозевич, посасывая потухшую сигару, — что в распоряжении этих проходимцев находится небезызвестная Большая Круглая Печать. Я надеюсь, вы понимаете, что это значит...

— Понимаю, — сказал Эдик тихо. — Не вырубишь топором... — Ясное лицо его затуманилось. — А что, если мы применим реморализатор?

Кристобаль Хозевич переглянулся с Федором Симеоновичем.

— Можно, конечно, попытаться, — сказал он, пожимая плечами. — Однако боюсь, что процессы зашли слишком далеко...

— Н-нет, п-почему же, — возразил Федор Симеонович. — Примените, п-примените, Эдик. Не автоматы же там применять... К-кстати, у них же там еще и В-выбегалло...

— Как так? — изумились мы.

Оказалось, что три месяца назад сверху поступило требование на научного консультанта с фантастическим окладом денежного содержания. Никто в этот оклад не верил, а более всех — профессор Выбегалло, который в это время как раз заканчивал большую работу по выведению путем перевоспитания самонадеевающегося на рыболовный крючок дождевого червя. О своем недоверии Выбегалло во всеуслышание объявил на ученом совете и тем же вечером бежал, бросив все. Многие видели, как он, взявши портфель в зубы, карабкался по внутренней стене шахты, выходя на этажах, кратных пяти, дабы укрепить свои силы в буфете. А через неделю сверху был спущен приказ о зачислении профессора Выбегалло А. А. научным консультантом при ТПРУНЯ с обещанным окладом и надбавками за знание иностранных языков.

— Спасибо, — сказал вежливый Эдик. — Это ценная информация. Так мы пойдем?

— Идите, идите, г-голубчики, — растроганно произнес Федор Симеонович. Он поглядел в магический кристалл. — Да, уже пора. Камноедов б-близится к к-концу. И п-поосторожнее там... Д-дремучее место, ж-жуткое...

— И никаких эмоций! — настойчиво напомнил Кристобаль Хозевич. — Не будут вам давать ваших клопов и ящиков — не надо. Вы — лазутчики. С вами будет установлена односторонняя телепатическая

связь. Мы будем следить за каждым вашим шагом. Собирайте информацию — вот основная ваша задача.

— Мы понимаем, — сказал Эдик.

Кристобаль Хозевич снова оценивающе оглядел нас.

— Модеста бы им с собой взять, — пробормотал он. — Клин клином... — Он безнадежно махнул рукой. — Ладно, идите. Буэнавентура.

Мы вышли, и Эдик сказал, что теперь надо зайти к нему в лабораторию и взять реморализатор. Последнее время он увлекался практической реморализацией. В лаборатории у него в девяти шкафах размещался опытный агрегат, принцип действия которого сводился к тому, что он подавлял в облучаемом примитивные рефлексы и извлекал на поверхность и направлял вовне разумное, доброе и вечное. С помощью этого опытного реморализатора Эдику удалось излечить одного филателиста-тиффози, вернуть в лоно семьи двух слетевших с нарезки хоккейных болельщиков и ввести в рамки застарелого клеветника. Теперь он лечил от хамства нашего большого друга Витьку Корнеева, но пока безуспешно.

— Как мы все это потащим? — сказал я, со страхом озирая шкафы.

Однако Эдик успокоил меня. Оказывается, у него уже почти был готов портативный вариант, менее мощный, но достаточный, как Эдик надеялся, для наших целей. «Там я его допаяю и отлажу», — сказал он, пряча в карман плоскую металлическую коробочку.

Когда мы вновь вернулись на лестничную площадку, Модест Матвеевич заканчивал свою речь.

— ...Это мы тоже прекратим, — утверждал он несколько осипшим голосом. — Потому что, во-первых, лифт бережет наше здоровье. Это первое. И он бережет рабочее время. Лифт денег стоит, и курить в нем мы категорически не позволим... Кто здесь добровольцы? — спросил он, неожиданно поворачиваясь к толпе.

Несколько голосов тотчас откликнулось, но Мо-

дест Матвеевич эти кандидатуры отвел. «Молоды еще в лифтах ездить, — объявил он. — Это вам не спектроскоп». Мы с Эдиком молча протиснулись в первый ряд.

— Нам на семьдесят шестой, — негромко сказал Эдик.

Воцарилась почтительная тишина. Модест Матвеевич с огромным сомнением оглядел нас с ног до головы.

— Жидковаты, — пробормотал он раздумчиво. — Зеленоваты еще... Курите? — спросил он.

— Нет, — ответил Эдик.

— Изредка, — сказал я.

Из толпы на Модеста Матвеевича набежал домовой Тихон и что-то прошептал ему на ухо. Модест Матвеевич поджал губы и надулся.

— Это мы еще проверим, — сказал он и добыл из кармана свою записную книжку. — За каким делом вы отправляетесь, Амперян? — спросил он недовольно.

— За Говорящим Клопом, — ответил Эдик.

— А вы, Привалов?

— За Черным Ящиком.

— Хм... — Модест Матвеевич полистал книжку. — Верно... имеются... та-ак... Колония Необъясненных Явлений... Покажите заявки.

Мы показали.

— Ну что ж, поезжайте... Не вы первые, не вы последние...

Он взял под козырек. Раздалась печальная музыка. Толпа заволновалась. Мы вступили в кабину. Мне было грустно и страшно, я вспомнил, что не попрощался со Стеллочкой. «Стопчут их там, — объяснял кому-то Модест Матвеевич. — Жалко... Ребята неплохие... Амперян вот даже и не курит, в рот не берет...» Металлическая дверь шахты с лязгом захлопнулась. Эдик, не глядя на меня, нажал кнопку семьдесят шестого этажа. Дверь кабины автоматически задвинулась, вспыхнула надпись: «Не курить! Пристегнуть ремни!», и мы отправились в путь.

Поначалу кабина шла лениво, вялой трусцой.

Чувствовалось, что никуда ей не хочется. Медленно уплывали вниз знакомые коридоры, печальные лица друзей, самодельные плакаты «Молодцы!» и «Вас не забудут!». На двенадцатом этаже нам в последний раз помахали платочками, и кабина вступила в неизведанные области. Показывались и исчезали необитаемые на вид пустые помещения, толчки становились все реже, все слабее, кабина, казалось, засыпала на ходу и на шестнадцатом этаже остановилась совсем. Мы едва успели перекинуться парой фраз с какими-то вооруженными людьми, которые оказались сотрудниками Отдела Заколдованных Сокровищ, как вдруг кабина взвилась на дыбы и с железным ржанием устремилась в зенит бешеным галопом. Замигали лампочки, защелкали тумблеры. Страшная перегрузка вдавила нас в пол. Чтобы удержаться на ногах, мы с Эдиком ухватились друг за друга. В зеркалах отразились наши вспотевшие от напряжения лица, и мы уже приготовились к худшему, но тут галоп сменился мелкой рысью, сила тяжести упала до полутора «же», и мы приободрились. Ёкая селезенкой, кабина причалила к пятьдесят седьмому этажу и остановилась снова. Раздвинулась дверь, вошел грузный пожилой человек с аккордеоном наизготовку, небрежно сказал нам: «Общий привет!» и нажал на кнопку шестьдесят третьего этажа. Когда кабина двинулась, он прислонился к стене и, мечтательно закатив глаза, принялся тихонько наигрывать «Кирпичики». «Снизу?» — лениво осведомился он, не поворачивая головы. «Снизу», — ответили мы. «Камноедов все работает?». «Работает». «Ну привет ему», — сказал незнакомец и больше не обращал на нас внимания. Кабина неторопливо поднималась, подрагивая в такт «Кирпичикам», а мы с Эдиком от стесненности принялись изучать «Правила пользования», вытравленные на медной доске. Мы узнали, что запрещается: селиться в кабине летучим мышам, вампирам и белкам-летягам; выходить сквозь стены в случае остановки кабины между этажами; провозить в кабине горючие и взрыв-

чатые вещества, а также сосуды с джиннами и ифритов без огнеупорных намордников; пользоваться лифтом домовым и вурдалакам без сопровождающих... Запрещалось также всем без исключения производить шалости, заниматься сном и совершать подпрыгивания. Дочитать до конца мы не успели. Кабина остановилась, незнакомец вышел, и Эдик снова нажал кнопку семьдесят шестого. В ту же секунду кабина рванулась вверх так стремительно, что у нас потемнело в глазах. Когда мы отдышались, кабина стояла неподвижно, двери были раскрыты. Мы были на семьдесят шестом этаже. Поглядев друг на друга, мы вышли, подняв над головами заявки, как белые парламентерские флаги. Не знаю, чего мы, собственно, ожидали. Чего-то плохого.

Однако ничего страшного не произошло. Мы оказались в круглом, пустом, очень пыльном зале с низким серым потолком. Посередине возвыпался вросший в паркет белый валун, похожий на надолбу, вокруг валуна в беспорядке валялись старые пожелтевшие кости. Пахло мышами, было сумрачно. Вдруг шахтная дверь позади нас с лязгом захлопнулась сама собою, мы вздрогнули, обернулись, но успели увидеть только мелькнувшую крышу провалившейся кабины. Зловещий удаляющийся гул прокатился по залу и замер. Мы были в ловушке. Мне немедленно и страстно захотелось назад, вниз, но выражение растерянности, промелькнувшее на лице Эдика, придало мне силы. Я выпятил челюсть, заложил руки за спину и на прямых ногах, храня вид независимый и скептический, направился к камню. Как я и ожидал, камень оказался чем-то вроде дорожного указателя, часто встречающегося в сказках. Надпись на нем выглядела следующим образом:

§ 1 на лево пойд
еш головушку потеря
еш § 2 на право пойдеш
ни куда не придеш § 3 пря
мо пой С В УХ Ь

— Последнюю строчку скололи, — пояснил Эдик. — Ага, тут еще какая-то надпись карандашом... «Мы... здесь... посоветовались с народом, и есть... мнение, что идти следует... прямо. Подпись: Л. Вунюков».

Мы посмотрели прямо. Теперь, когда глаза наши привыкли к рассеянному свету, попадающему в зал неизвестно каким образом, мы увидели двери. Их было три, причем двери, ведущие, так сказать, направо и налево, были заколочены досками, а к двери прямо, огибая камень, вела от лифта протоптанная в пыли тропинка.

— Не нравится мне все это, — сказал я с мужественной прямотой. — Кости какие-то...

— Кости, по-моему, слоновьи, — сказал Эдик. — Впрочем, это неважно. Не возвращаться же нам.

— Может, все-таки напишем записку и бросим в лифт? — предложил я. — Сгинем ведь бесследно.

— Саша, — сказал Эдик, — не забудь, что мы находимся в телепатической связи. Неудобно. Встряхнись.

Я встряхнулся. Я снова выпятил челюсть и решительно двинулся к двери прямо. Эдик шел рядом со мной.

— Рубикон перейден! — заявил я и пнул дверь ногой.

Впрочем, эффект пропал даром: на двери оказалась малоприметная табличка «Тянуть к себе», и Рубикон пришлось переходить вторично, уже без жестов и через унизительное преодоление мощной пружины.

Сразу за дверью оказался парк, залитый солнечным светом. Мы увидели песчаные аллейки, подстриженные кусты и предупреждения: «По газонам не ходить и траву не есть». Напротив стояла чугунная садовая скамейка с проломленной спинкой, а на скамейке читал газету, пошевеливая длинными пальцами босых ног, какой-то странный человек в пенсне. Заметив нас, он почему-то смутился, не опуская газеты, ловко снял ногой пенсне, протер линзы о штанину и вновь водру-

зил на место. Потом он отложил газету и поднялся. Был он велик ростом, неимоверно волосат и одет в чистую белую безрукавку и синие холщовые штаны на помочах. Золоченое пенсне сжимало его широкую черную переносицу и придавало ему какой-то иностранный вид. Было в нем что-то от политической карикатуры в центральной газете. Он повел большими острыми ушами, сделал несколько шагов нам навстречу и произнес хриплым, но приятным голосом:

— Добро пожаловать в Тьмускорпионь, и разрешите представиться. Федор, снежный человек.

Мы молча поклонились.

— Вы ведь снизу, — продолжал он. — Слава Богу. Я жду вас уже больше года — с тех пор, как меня рационализировали. Давайте присядем. До начала вечернего заседания Тройки остается около часу. Мне бы очень хотелось, с вашего позволения, чтобы вы явились на это заседание хоть как-то подготовленными. Конечно, знаю я немного, но позвольте мне рассказать вам все, что я знаю...

ДЕЛО № 42. СТАРИКАШКА ЭДЕЛЬВЕЙС

Мы перешагнули порог комнаты заседаний ровно в пять часов. Мы были проинструктированы, мы были ко всему готовы, мы знали, на что идем. Во всяком случае, мне так казалось. Признаться, Федины объяснения несколько успокоили меня, Эдик же, напротив, впал в подавленное состояние. Эта подавленность удивляла меня, я относил ее целиком за счет того, что Эдик всегда был человеком чистой науки, далеким от всяких там входящих и исходящих, от дыроколов и ведомостей. И эта же его подавленность возбуждала во мне, человеке сравнительно опытном, ощущение превосходства, я чувствовал себя старшим и готов был вести себя соответственно.

В комнате наличествовал пока только один человек — судя по Федькиному описанию, комендант Колонии товарищ Зубо. Он сидел за маленьким столиком, держал перед собою раскрытую папку и так и подсигивал от какого-то нетерпеливого возбуждения. Был он тощ и похож на Дуремара, губы у него непрерывно двигались, а глаза были белые, как у античной статуи. Нас он сначала не заметил, и мы тихонько уселись у стены под табличкой «Представители». Комната была в три окна, у двери стоял голый демонстрационный стол, у стены напротив — другой стол, огромный, покрытый зеленой суконной скатертью. В углу возвышался чудовищный коричневый сейф; комендантский столик, заваленный канцелярскими папками, ютился у его подножия. В комнате был еще один маленький столик под табличкой «Научный консультант» и гигантский, на полторы стены, матерчатый лозунг: «Народу не нужны нездоровые сенсации. Народу нужны здоровые сенсации». Я покосился на Эдика. Эдик, не отрываясь, глядел на лозунг. Эдик был убит.

Комендант вдруг встрепенулся, повел большим носом и обнаружил наше присутствие.

— Посторонние! — произнес он с испуганным изумлением.

Мы встали и поклонились. Комендант, не спуская с нас напряженного взора, вылез из-за своего столика, сделал несколько крадущихся шагов и, остановившись перед Эдиком, протянул руку. Вежливый Эдик, слабо улыбнувшись, пожал эту руку и представился, после чего отступил на шаг и поклонился снова. Комендант, казалось, был потрясен. Несколько мгновений он стоял в прежней позе, а затем поднес свою ладонь к лицу и недоверчиво осмотрел ее. Что-то было не так. Комендант быстро замигал, а потом с огромным беспокойством, как бы ища оброненное, принялся оглядывать пол под ногами. Тут до меня дошло.

— Документы! — прошипел я. — Документы ему дай!

Комендант, болезненно улыбаясь, продолжал озираться. Эдик торопливо сунул ему свое удостоверение и заявку. Комендант ожил. Действия его вновь стали осмысленными. Он пожрал глазами сначала заявку, потом фотографию на документе, а на закуску — самого Эдика. Сходство фотографии с оригиналом привело его в явный восторг.

— Очень рад! — воскликнул он. — Зубо моя фамилия. Комендант. Рад вас приветствовать. Устраивайтесь, товарищ Амперян, располагайтесь, нам с вами еще работать и работать... — Он вдруг остановился и поглядел на меня. Я уже держал удостоверение и заявку наготове. Процедура пожирания повторилась. — Очень рад! — воскликнул комендант с совершенно теми же интонациями. — Зубо моя фамилия. Комендант. Рад вас приветствовать. Устраивайтесь, товарищ Привалов, располагайтесь...

— Как насчет гостиницы? — деловито спросил я. Мне казалось, что это будет верный тон. Но я ошибся. Комендант пропустил мой вопрос мимо ушей. Он уже разглядывал заявки.

— Ящик Черный Идеальный... — бормотал он. — Есть у нас таковой. не рассматривали еще... А вот Клоп Говорящий уже рационализирован, товарищ Амперян... Не знаю, не знаю... Это еще как Лавр Федотович посмотрит, а я бы на вашем месте поостерегся...

Он вдруг замолчал, прислушался и рысью кинулся на свое место. В приемной послышались шаги, голоса, кашель, дверь распахнулась, движимая властной рукой, и в комнате появилась Тройка в полном составе — все четверо.

Лавр Федотович Вунюков, в полном соответствии с описанием, белый, холеный, могучий, ни на кого не глядя, проследовал на председательское место, сел, водрузил перед собой огромный портфель, с лязгом распахнул его и принялся выкладывать на зеленое сукно предметы, необходимые для успешного председательствования: номенклатурный бювар крокодиловой

кожи, набор авторучек в сафьяновом чехле, коробку «Герцеговины-Флор», зажигалку в виде триумфальной арки и призматический театральный бинокль.

Рудольф Архипович Хлебовводов, желтый и сухой, как плетень, сел ошуюю Лавра Федотовича и принялся немедленно что-то шептать ему в ухо, бесцельно бегая воспаленными глазами по углам комнаты.

Рыжий рыхлый Фарфуркис не сел за стол. Он демократически устроился на жестком стуле напротив коменданта, вынул толстую записную книжку в дряхлом переплете и сразу же сделал в ней пометку.

Научный же консультант профессор Выбегалло, которого мы узнали без всякого описания, равнодушно оглядел нас, сдвинул брови, поднял на мгновение глаза к потолку, как бы пытаясь припомнить, где это он нас видел, не то припомнил, не то не припомнил, уселся за свой столик и принялся деятельно готовиться к исполнению своих ответственных обязанностей. Перед ним появился первый том «Малой Советской Энциклопедии», затем второй том, затем третий, четвертый...

—Грррм, — произнес Лавр Федотович и оглядел присутствие взглядом, проникающим сквозь стены и видящим насквозь. Все были готовы: Хлебовводов нашептывал, Фарфуркис сделал вторую пометку, комендант, похожий на ученика перед началом опроса, судорожно листал страницы, а Выбегалло положил перед собой шестой том. Что же касается представителей, то есть нас, то мы, по-видимому, значения не имели. Я посмотрел на Эдика и поспешно отвернулся. Эдик был близок к полной деморализации — появление Выбегаллы его доконало.

— Вечернее заседание Тройки объявляю открытым, — сказал Лавр Федотович. — Следующий! Докладывайте, товарищ Зубо.

Комендант вскочил и, держа перед собой раскрытую папку, начал высоким голосом:

— Дело номер сорок второе. Фамилия: Машкин. Имя: Эдельвейс. Отчество: Захарович...

— С каких это пор он Машкиным заделался? — брезгливо спросил Хлебовводов. — Бабкин, а не Машкин! Бабкин Эдельвейс Петрович. Я с ним работал в одна тысяча девятьсот сорок седьмом году в Комитете по молочному делу. Эдик Бабкин, плотный такой мужик, сливки очень любит... И, кстати, никакой он не Эдельвейс, а Эдуард. Эдуард Петрович Бабкин...

Лавр Федотович медленно обратил к нему каменное лицо.

— Бабкин? — произнес он. — Не помню... Продолжайте, товарищ Зубо.

— Отчество: Захарович, — дернув щекой, повторил комендант. — Год и место рождения: тысяча девятьсот первый, город Смоленск. Национальность...

— Э-дуль-вейс или Э-доль-вейс? — спросил Фарфуркис.

— Э-дель-вейс, — сказал комендант. — Национальность: белорус. Образование: неполное среднее общее, неполное среднее техническое. Знание иностранных языков: русский — свободно, украинский и белорусский — со словарем. Место работы...

Хлебовводов вдруг звонко шлепнул себя по лбу.

— Да нет же! — закричал он. — Он же помер!

— Кто помер? — деревянным голосом спросил Лавр Федотович.

— Да этот Бабкин! Я же как сейчас помню — в одна тысяча девятьсот пятьдесят шестом году помер он от инфаркта. Стал он тогда финдиректором Всероссийского общества испытателей природы и помер. Так что тут какая-то путаница.

Лавр Федотович взял бинокль и некоторое время изучал коменданта, потерявшего дар речи.

— Факт смерти у вас отражен? — осведомился он.

— Христом Богом... — пролепетал комендант. — Какой смерти?.. Да почему же смерти... Да живой он, в приемной дожидается...

— Одну минуточку, — вмешался Фарфуркис. — Вы разрешите, Лавр Федотович? Товарищ Зубо, кто до-

жидается в приемной? Только точно. Фамилия, имя, отчество.

— Бабкин! — с отчаянием сказал комендант. — То-есть, что я говорю? Не Бабкин — Машкин! Машкин дожидается. Эдельвейс Захарович.

— Понимаю, — сказал Фарфуркис. — А где Бабкин?

— Бабкин помер, — сказал Хлебовводов авторитетно. — Это я вам точно могу сказать. В одна тысяча девятьсот пятьдесят шестом. Правда, у него сын был. Пашка, по-моему. Павел, значит, Эдуардович. Заведует он сейчас магазином текстильного лоскута в Голицыне, что под Москвой. Толковый работяга, но, кажется, не Павел все-таки, не Пашка...

Фарфуркис налил стакан воды и передал коменданту. В наступившей тишине было слышно, как комендант гулко глотает. Лавр Федотович размял и продул папиросу.

— Никто не забыт и ничто не забыто, — произнес он. — Это хорошо. Товарищ Фарфуркис, я прошу вас занести в протокол, в констатирующую часть, что Тройка считает полезным принять меры к отысканию сына Бабкина Эдуарда Петровича на предмет выяснения его имени. Народу не нужны безымянные герои. У нас их нет.

Фарфуркис закивал и принялся быстро писать в записной книжке.

— Вы напились? — осведомился Лавр Федотович, разглядывая коменданта в бинокль. — Тогда продолжайте докладывать.

— Место работы и профессия в настоящее время: пенсионер-изобретатель, — нетвердым голосом прочел комендант. — Был ли за границей: не был. Краткая сущность необъясненности: эфристическая машина, то есть электронно-механическое устройство для решения инженерных, научных, социологических и иных проблем. Ближайшие родственники: сирота, братьев и сес-

тер нет. Адрес постоянного местожительства: Новосибирск, улица Щукинская, 23, квартира 88. Все.

— Какие будут предложения? — спросил Лавр Федотович, приспустив тяжелые веки.

— Я бы предложил впустить, — сказал Хлебовводов. — Я почему предлагаю? А вдруг это Пашка?

— Других предложений нет? — спросил Лавр Федотович. Он пошарил по столу, ища кнопку, не нашел и сказал коменданту: — Пусть дело войдет, товарищ Зубо.

Комендант опрометью кинулся к двери, высунулся и тотчас вернулся, пятясь, на свое место. Следом за ним, перекосившись набок под тяжестью огромного черного футляра, вкатился сухопарый старичок в толстовке и в военных галифе с оранжевым кантом. По дороге к столу он несколько раз пытался прекратить движение и с достоинством поклониться, но футляр, обладавший, по-видимому, чудовищной инерцией, неумолимо нес его вперед, и, может быть, не обошлось бы без жертв, если бы мы с Эдиком не подхватили старичка в полуметре от затрепетавшего уже Фарфуркиса. Я сразу узнал этого старичка — он неоднократно бывал в нашем Институте, и во многих других институтах он тоже бывал, а однажды я видел его в приемной заместителя министра тяжелого машиностроения, где он сидел первым в очереди, терпеливый, чистенький, пылающий энтузиазмом. Старичок он был неплохой, безвредный, но, к сожалению, не мыслил себя вне научно-технического прогресса.

Я забрал у него тяжеленный футляр и водрузил изобретение на демонстрационный столик. Освобожденный, наконец, старичок поклонился и сказал дребезжащим голоском:

— Мое почтение. Машкин Эдельвейс Захарович, изобретатель.

— Не он, — сказал Хлебовводов вполголоса. — Не он и не похож. Надо полагать, совсем другой Бабкин. Однофамилец, надо полагать.

— Да-да, — согласился старичок, улыбаясь. — Принес вот на суд общественности. Профессор вот товарищ Выбегалло, дай Бог ему здоровья, порекомендовал. Готов демонстрировать, ежели на то будет ваше желание, а то засиделся я у вас в Колонии неприлично...

Внимательно разглядывавший его Лавр Федотович отложил бинокль и медленно наклонил голову. Старичок засуетился. Он снял с футляра крышку, под которой оказалась громоздкая старинная пишущая машинка, извлек из кармана моток провода, воткнул один конец куда-то в недра машинки, затем огляделся в поисках штепселя и, обнаружив, размотал провод и воткнул вилку.

— Вот, изволите видеть, так называемая эвристическая машина, — сказал старичок. — Точный электронно-механический прибор для отвечания на любые вопросы, а именно — на научные и хозяйственные. Как она у меня работает? Не имея достаточно средств и будучи отфутболиваем различными бюрократами, она у меня пока не полностью автоматизирована. Вопросы задаются устным образом, и я их печатаю и ввожу к ей внутрь, довожу, так сказать, до ейного сведения. Отвечание ейное, опять же через неполную автоматизацию, печатаю снова я. В некотором роде посредник, хе-хе! Так, ежели угодно, прошу.

Он встал за машинку и шикарным жестом перекинул тумблер. В недрах машинки загорелась неоновая лампочка.

— Прошу вас, — повторил старичок.

— А что это там у вас за лампа? — с любопытством спросил Фарфуркис.

Старичок тут же ударил по клавишам, потом быстро вырвал из машинки листок бумаги и рысцой поднес его Фарфуркису. Фарфуркис прочитал вслух:

— «Вопрос: что у нея... гм... у нея внутре за лпч...» Лэпэчэ... Кэпэдэ, наверное? Что еще за лэпэчэ?

— Лампочка, значит, — сказал старичок, хихикая

и потирая руки. — Кодируем помаленьку. — Он вырвал у Фарфуркиса листок и побежал обратно к своей машинке. — Это, значит, был вопрос, — произнес он, загоняя листок под валик. — А сейчас посмотрим, что она ответит...

Члены Тройки с интересом следили за его действиями. Профессор Выбегалло благодушно-отечески сиял, изысканными и плавными движениями пальцев выбирая из бороды какой-то мусор. Эдик пребывал в спокойной, теперь уже полностью осознанной тоске. Между тем старичок бодро простучал по клавишам и снова выдернул листок.

— Вот, извольте, ответ.

Фарфуркис прочитал:

— «У мене внутре... гм... не... неонка». Что это такое — неонка?

— Айн секунд! — воскликнул изобретатель, выхватил листок и вновь побежал к машинке.

Дело пошло. Машина дала безграмотное объяснение, что такое неонка, затем она ответила Фарфуркису, что пишет «внутре» согласно правил грамматики, а затем...

Фарфуркис: Какой такой грамматики?

Машина: А нашей русской грмтк.

Хлебовводов: Известен ли вам Бабкин Эдуард Петрович?

Машина: Никак нет.

Лавр Федотович: Грррм... Какие будут предложения?

Машина: Признать меня за научный факт.

Старичок бегал и печатал с неимоверной быстротой. Комендант восторженно подпрыгивал на стуле и показывал нам большой палец. Эдик медленно восстанавливал душевное равновесие.

Хлебовводов (раздраженно): Я так работать не могу. Чего он взад-вперед мотается, как жесть по ветру?

Машина: Ввиду стремления.

Хлебовводов: Да уберите вы от меня ваш листок!

Я вас ни про чего не спрашиваю, можете вы это понять?

Машина: Так точно, могу.

До Тройки, наконец, дошло, что если они хотят кончить когда-нибудь сегодняшнее заседание, им надлежит воздержаться от вопросов, в том числе и от риторических. Наступила тишина. Старичок, который основательно умаялся, присел на краешек кресла и, часто дыша полуоткрытым ртом, вытирался платочком. Выбегалло горделиво озирался.

— Есть предложение, — тщательно подбирая слова, сказал Фарфуркис. — Пусть научный консультант произведет экспертизу и доложит нам свое мнение.

Лавр Федотович поглядел на Выбегаллу и величественно наклонил голову. Выбегалло встал. Выбегалло любезно осклабился. Выбегалло прижал правую руку к сердцу. Выбегалло заговорил.

— Эта... — сказал он. — Неудобно, Лавр Федотович, может получиться. Как-никак, а же суизан рекомендатель сет нобль вё[1]. Пойдут разговоры... эта... кумовство, мол, протексион... А между тем случай очевидный, достоинства налицо, рационализация... эта... осуществлена в ходе эксперимента... Не хотелось бы подставлять под удар доброе начинание, гасить инициативу. Лучше будет что? Лучше будет, если экспертизу произведет лицо незаинтересованное... эта... постороннее. Вот тут среди представителей снизу наблюдается товарищ Привалов Александр Иванович... (Я вздрогнул.) Компетентный товарищ по электронным машинам. И незаинтересованный. Пусть он. Я так полагаю, что это будет ценно.

Лавр Федотович взял бинокль и стал поочередно нас рассматривать. Оживший Эдик умоляюще прошептал: «Саша, надо! Дай им! Такой случай!»

— Есть предложение, — сказал Фарфуркис, —

---

[1] Я — рекомендатель этого благородного старика.

просить товарища представителя снизу оказать содействие работе Тройки.

Лавр Федотович отложил бинокль и дал согласие. Теперь все смотрели на меня. Я бы, конечно, ни за что не стал путаться в эту историю, если б не старичок. Сет нобль вё хлопал на меня красными веками столь жалостно и весь вид его являл такое очевидное обещание век за меня Бога молить, что я не выдержал. Я неохотно встал и приблизился к машине. Старичок радостно мне улыбался. Я осмотрел агрегат и сказал:

— Ну хорошо... Имеет место пишущая машинка «ремингтон» выпуска тысяча девятьсот шестого года в сравнительно хорошем состоянии. Шрифт дореволюционный тоже в хорошем состоянии. — Я поймал умоляющий взгляд старикашки, вздохнул и пощелкал тумблером. — Короче говоря, ничего нового данная печатающая конструкция, к сожалению, не содержит. Содержит только очень старое...

— Внутре! — прошелестел старичок. — Внутре смотрите, где у нее анализатор и думатель...

— Анализатор, — сказал я. — Нет здесь анализатора. Серийный выпрямитель есть, тоже старинный. Неоновая лампочка обыкновенная. Тумблер. Хороший тумблер, новый. Та-ак... Еще имеет место шнур. Очень хороший шнур, совсем новый... Вот, пожалуй, и все.

— А вывод? — живо осведомился Фарфуркис.

Эдик ободряюще мне кивал, и я дал ему понять, что постараюсь.

— Вывод, — сказал я. — Описанная машинка «ремингтон» в соединении с выпрямителем, неоновой лампочкой, трумблером и шнуром не содержит ничего необъясненного.

— А я? — вскричал старичок.

Эдик показал мне, как надлежит делать хук слева, но этого я не мог.

— Нет, конечно... — промямлил я. — Проделана большая работа... (Эдик схватился за голову.) Я, ко-

нечно, понимаю... добрые намерения... (Эдик посмотрел на меня с презрением.) Ну в самом деле, — сказал я, — человек старался... нельзя же так...

— Побойся Бога, — отчетливо произнес Эдик.

— Нет... Ну что ж... Ну, пусть человек работает, раз ему интересно... Я только говорю, что необъясненного ничего нет... А вообще-то даже остроумно...

— Какие будут вопросы к врио*) научного консультанта? — осведомился Лавр Федотович.

Уловив вопросительную интонацию, старичок взвился и рванулся было к своей машине, но я удержал его, схватив за талию.

— Правильно, — сказал Хлебовводов. — Поддержите его, а то тяжело работать, в самом деле. Все-таки у нас не вечер вопросов и ответов. И вообще выключите ее пока, нечего ей подслушивать.

Высвободив одну руку, я щелкнул тумблером, лампочка погасла, и старичок затих.

— А вот все-таки у меня есть вопрос, — продолжал Хлебовводов. — Как же это она все-таки отвечает?

Я обалдело воззрился на него. Эдик пришел в себя и теперь, жестко прищурившись, разглядывал Тройку. Выбегалло был доволен. Он извлек из бороды длинную щепку и вонзил ее между зубами.

— Выпрямители там, тумбы разные, — говорил Хлебовводов, — это нам товарищ врио все довольно хорошо объяснил. Одного он нам не объяснил: фактов он нам не объяснил. А имеется непреложный факт, что когда задаешь вопрос, то получаешь тут же ответ. В письменном виде. И даже когда не ей, а кому другому задаешь вопрос, все равно обратно же получаешь ответ. А вы говорите, товарищ врио, ничего необъясненного нет. Не сходятся у вас концы с концами. Непонятно нам, что же говорит по данному поводу наука.

---

*) Врио — временно исполняющий обязанности. — Ред.

Наука в моем лице потеряла дар речи. Хлебовводов меня сразил, зарезал он меня, убил и в землю закопал. Зато Выбегалло отреагировал немедленно.

— Эта... — сказал он. — Так ведь я и говорю, ценное же начинание! Элемент необъясненного имеется, порыв снизу... Почему я и рекомендовал. Эта... — сказал он старику. — Объясни, мон шер, товарищам, что тут у тебя к чему.

Старичок словно взорвался.

— Высочайшие достижения нейтронной мегалоплазмы! — провозгласил он. — Ротор поля наподобие дивергенции градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные электрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания...

У меня потемнело в глазах, рот наполнился хиной, заболели зубы, а проклятый нобль все говорил и говорил, и речь его была гладкой и плавной, это была хорошо составленная, вдумчиво отрепетированная и уже неоднократно произнесенная речь, в которой каждый эпитет, каждая интонация были преисполнены эмоционального содержания, это было настоящее произведение искусства. Старик был никаким не изобретателем, он был художником, гениальным оратором, достойнейшим из последователей Демосфена, Цицерона, Иоанна Златоуста... Шатаясь, я отступил в сторону и прислонился лбом к холодной стене.

Тут Эдик негромко ударил в ладоши, и старикашка замолчал. На секунду мне показалось, что Эдик остановил время, потому что все сделались неподвижны, словно вслушивались в глубокую средневековую тишину, мягким бархатом повисшую в комнате. Потом Лавр Федотович отодвинул кресло и встал.

— По закону и по всем правилам я должен был бы говорить последним, — начал он. — Но бывают случаи, когда законы и правила оборачиваются против своих адептов, и тогда приходится отбрасывать их. Я начинаю говорить первым потому, что не могу ждать и мол-

чать. Я начинаю говорить первым потому, что не ожидаю и не потерплю никаких возражений.

Ни о каких возражениях не могло быть и речи. Рядовые члены Тройки были настолько потрясены этим неожиданным приступом красноречия, что позволяли себе только переглядываться.

— Мы — гардианы науки, — продолжал Лавр Федотович. — Мы — ворота в ее храм, мы — беспристрастные фильтры, оберегающие от фальши, от легкомыслия, от заблуждений. Мы охраняем посевы знаний от плевел невежества и ложной мудрости. И пока мы делаем это, мы не люди, мы не знаем снисхождения, жалости, лицемерия. Для нас существует только одно мерило: истина. Истина отдельна от добра и зла, истина отдельна от человека и человечества, но только до тех пор, пока существуют добро и зло, пока существует человек и человечество. Нет человечества — к чему истина? Никто не ищет знаний, значит — нет человечества, и к чему истина? Есть ответы на все вопросы, значит — не надо искать знаний, значит — нет человечества и к чему же тогда истина? Когда поэт сказал: «И на ответы нет вопросов», он описал самое страшное состояние человеческого общества — конечное его состояние... Да, этот человек, стоящий перед нами, — гений. В нем воплощено и через него выражено конечное состояние человечества. Но он — убийца, ибо он убивает дух. Более того, он — страшный убийца, ибо он убивает дух всего человечества. И потому нам больше не можно оставаться беспристрастными фильтрами, а должно нам вспомнить, что мы — люди, и как людям нам должно защищаться от убийцы. И не обсуждать должно нам, а судить! Но нет законов для такого суда, и потому должно нам не судить, а беспощадно карать, как карают охваченные ужасом. И я, старший здесь, нарушая законы и правила, первый говорю: смерть!

Рядовые члены Тройки вздрогнули и разом заговорили:

— Которого? — с готовностью спросил Хлебовводов, понявший, по-видимому, только последнее слово.

— Импосибель! — всплеснув руками, испуганно прошептал Выбегалло.

— Позвольте, Лавр Федотович! — залепетал Фарфуркис. — Все это правильно, но можем ли мы...

Тогда Эдик снова хлопнул в ладоши.

— Грррм! — произнес Лавр Федотович, ворочая шеей, и сел. — Есть предложение считать сумерки сгустившимися и в соответствии с этим зажечь свет.

Комендант сорвался с места и включил свет. Лавр Федотович, не щурясь, как орел на солнце, поглядел на лампу и перевел взгляд на «ремингтон».

— Выражая общее мнение, — сказал он, — постановляю: данное дело номер сорок второе считать рационализированным. Переходя к вопросу об утилизации, предлагаю товарищу Зубо огласить заявку.

Комендант принялся торопливо листать дело, а тем временем профессор Выбегалло выбрался из-за своего стола, с чувством пожал руку сначала старикашке, а потом, прежде, чем я успел увернуться, и мне. Он сиял. Я не знал, куда деваться. Я не смел оглянуться на Эдика. Пока я тупо размышлял, не запустить ли мне «ремингтоном» в Лавра Федотовича, меня схватил старикашка. Он, как клещ, вцепился мне в шею и троекратно поцеловал, оцарапав щетиной. Не помню, как я добрался до своего стула. Помню только, что Эдик шепнул мне: «Эх, Саша!.. Ну, ничего, с кем не бывает...»

Между тем комендант перелистал все дело и жалобным голосом сообщил, что на данное дело заявок не поступало. Фарфуркис тотчас заявил протест и процитировал статью инструкции, из которой следовало, что рационализация без утилизации есть нонсенс и может быть признана действительной лишь условно. Хлебовводов начал орать, что эти штучки не пройдут, что он деньги даром получать не желает и что он не позволит коменданту отправить коту под хвост четыре часа рабочего времени. Лавр Федотович

с видом одобрения продул папиросу, и Хлебовводов взыграл еще пуще.

— А вдруг это родственник моему Бабкину? — вопил он. — Как так нет заявок? Должны быть заявки! Вы только поглядите, старичок какой! Фигура какая самобытная, интересная! Как это мы будем такими старичками бросаться?

— Общественность не позволит нам бросаться старичками, — заметил Лавр Федотович. — И общественность будет права.

— Вот и именно! — рявкнул вдруг Выбегалло. — Именно общественность! И именно не позволит! Как же это — нет заявок, товарищ Зубо? Почему же это нет? — Он сорвался с места и ястребом набросился на гору бумаг перед комендантом. — Как это нет? — бормотал он. — Это что? Птеродактиль обыкновенный... Хорошо... А это? Шкатулка Пандоры! Чем же это вам не шкатулка... Пусть не Пандоры, пусть Машкина... Это же формалитет в конце концов... Или это, например: Клоп Говорящий... Говорящий, пишущий, печатающий... А!!! Как же это нет заявок, товарищ Зубо? А это что? Черный Ящик! Заявочка на Черный Ящик есть, а вы говорите, что нет!

Я обомлел.

— Погодите! — сказал я, но меня никто не слушал.

— Так это же не Черный Ящик! — кричал комендант, прижимая к груди руки. — Черный Ящик совсем по другому номеру проходит!

— Как это так — не черный? — кричал в ответ Выбегалло, хватая обшарпанный черный футляр от «ремингтона». — Какой же он, по-вашему, ящик-то? Зеленый, может быть? Или белый? Дезинформацией занимаетесь, общественными старичками бросаетесь!

Комендант, оправдываясь, выкрикивал, что это, конечно, тоже черный ящик, не зеленый и не белый, явно черный, но не тот ящик-то, тот черный ящик проходит по делу под номером девяносто седьмым, и

на него заявка имеется вот товарища Привалова Александра Ивановича, сегодня только получена, а этот черный ящик — и не ящик вовсе, а эвристическая машина, и проходит она по делу под номером сорок вторым, и заявки на нее нет. Выбегалло орал, что нечего тут... эта... жонглировать цифрами и бросаться старичками; черное есть черное, оно не белое и не зеленое, и нечего тут, значить, махизьм разводить и всякий эмпириокритизьм, а пусть вот товарищи члены авторитетной Тройки сами посмотрят и скажут, черный это ящик или, скажем, зеленый. Хлебовводов кричал что-то про Бабкина, Фарфуркис требовал не уклоняться от инструкции, Эдик с удовольствием вопил: «Долой!», а я, как испорченный граммофон, только твердил: «Мой Черный Ящик — это не ящик... Мой Черный Ящик — это не ящик...»

Наконец, до Лавра Федотовича дошло ощущение некоторого непорядка.

— Грррм! — сказал он, и все стихло. — Затруднение? Товарищ Хлебовводов, устраните.

Хлебовводов твердым шагом подошел к Выбегалле, взял у него из рук футляр и внимательно осмотрел его.

— Товарищ Зубо, — сказал он. — На что вы имеете заявку?

— На Черный Ящик, — уныло сказал комендант. — Дело номер девяносто седьмое.

— Я тебя не спрашиваю, какое номер дело, — возразил Хлебовводов. — Я тебя спрашиваю: ты на черный ящик заявку имеете?

— Имею, — признался комендант.

— Чья заявка?

— Товарища Привалова из НИИЧАВО. Вот он сидит.

— Да, — страстно сказал я, — но мой Черный Ящик — это не ящик, точнее, не совсем ящик...

Однако Хлебовводов внимания на меня не обра-

тил. Он посмотрел футляр на свет, потом приблизился к коменданту и зловеще произнес:

— Ты что же это бюрократию разводите? Ты что же, не видите, какого оно цвета? На твоих же глазах рационализацию произвели, вот товарищ представитель от науки на твоих глазах сидит, ждет, понимаете, выполнения заявки, ужинать давно пора, на дворе темно, а ты что же, номерами здесь жонглируете?

Я чувствовал, что на меня надвигается какая-то тоска, что будущее мое заполняется каким-то унылым кошмаром, непоправимым и совершенно иррациональным. Но я не понимал, в чем дело, и только продолжал жалко бубнить, что мой ящик — это не совсем черный ящик, а точнее — совсем не ящик. Мне хотелось разъяснить, рассеять недоразумение. Комендант тоже бубнил что-то убедительное, но Хлебовводов, погрозив ему кулаком, уже возвращался на свое место.

— Ящик, Лавр Федотович, черный, — с торжеством доложил он. — Ошибки никакой быть не может, сам смотрел. И заявка имеется, и представитель присутствует.

— Это не тот ящик! — хором проныли мы с комендантом, но Лавр Федотович, тщательно изучив нас в бинокль, обнаружил, по-видимому, в обоих какие-то несообразности и, сославшись на мнение народа, предложил приступить к немедленной утилизации. Возражений не последовало, все ответственные лица кивали.

— Заявку! — воззвал Лавр Федотович.

Моя заявка легла перед ним на зеленое сукно.

— Резолюция!!

На заявку пала резолюция.

— Печать!!!

С лязгом распахнулась дверь сейфа, пахнуло затхлой канцелярией, и перед Лавром Федотовичем засверкала медью Большая Круглая Печать. И тогда я понял, что сейчас произойдет. Все во мне умерло.

— Не надо! — просипел я. — Помогите!

Лавр Федотович взял Печать обеими руками и занес над заявкой. Собравшись с силами, я вскочил на ноги.

— Это не тот ящик! — завопил я в полный голос. — Да что же это... Эдик!

— Одну минуту, — сказал Эдик. — Остановитесь, пожалуйста, и выслушайте меня.

Лавр Федотович задержал неумолимое движение.

— Посторонний? — осведомился он.

— Никак нет, — тяжело дыша, сказал комендант. — Представитель. Снизу.

— Тогда можно не удалять, — произнес Лавр Федотович и возобновил было процесс приложения Большой Круглой Печати, но тут оказалось, что возникло затруднение. Что-то мешало Печати приложиться. Лавр Федотович сначала просто давил на нее, потом встал и навалился всем телом, но приложение все-таки не происходило — между бумагой и печатью оставался зазор, и величина его явно не зависела от усилий товарища Вунюкова. Можно было подумать, что зазор этот заполнен каким-то невидимым, но чрезвычайно упругим веществом, препятствующим приложению. Лавр Федотович, видимо, осознал тщету своих стараний, сел, положил руки на подлокотники и строго, хотя и без всякого удивления, посмотрел на Печать. Печать неподвижно висела сантиметрах в двадцати над моей заявкой.

Казнь откладывалась, и я снова начал воспринимать окружающее. Эдик что-то горячо и красиво говорил о разуме, об экономической реформе, о добре, о роли интеллигенции и о государственной мудрости присутствующих... Он держал Печать, милый друг мой, спасал меня, дурака и слюнтяя, от беды, которую я сам накачал себе на голову... Присутствующие слушали его внимательно, но с неудовольствием, а Хлебовводов ерзал и поглядывал на часы. Надо было что-то делать... Надо было немедленно что-то предпринимать.

— ...и в-седьмых, наконец, — рассудительно говорил Эдик, — любому специалисту, а тем более такой авторитетной организации, должно быть ясно, товарищи, что так называемый Черный Ящик есть не более как термин теории информации, ничего общего не имеющий ни с определенным цветом, ни с определенной формой какого бы то ни было реального предмета. Менее всего Черным Ящиком можно называть данную пишущую машинку «ремингтон» вкупе с простейшими электрическими приспособлениями, которые можно приобрести в любом электротехническом магазине, и мне кажется странным, что профессор Выбегалло навязывает авторитетной организации изобретение, которое изобретением не является, и решение, которое может лишь подорвать ее авторитет.

— Я протестую, — сказал Фарфуркис. — Во-первых, товарищ представитель снизу нарушил здесь все правила ведения заседания, взял слово, которое ему никто не давал, и вдобавок еще превысил регламент. Это раз. (Я с ужасом увидел, что Печать колыхнулась и упала на несколько сантиметров.) Далее, мы не можем позволить товарищу представителю порочить наших лучших людей, чернить заслуженного профессора и официального научного консультанта товарища Выбегаллу и обелять имеющий здесь место и уже заслуживший одобрение Тройки черный ящик. Это два. (Печать провалилась еще на несколько сантиметров.) Наконец, товарищ представитель, надо бы вам знать, что Тройку не интересуют никакие изобретения. Объектом работы Тройки является необъясненное явление, в качестве какового в данном случае и выступает уже рассмотренный и рационализированный черный ящик, он же эвристическая машина.

— Это же до ночи можно просидеть, — обиженно добавил Хлебовводов, — ежели каждому представителю слово давать.

Печать вновь осела. Зазор был теперь не более десяти сантиметров.

— Это не тот черный ящик, — сказал я и проиграл два сантиметра. — Мне не нужен этот ящик! (Еще сантиметр.) Я протестую! На какой мне черт эта старая песочница с «ремингтоном»? Я жаловаться буду.

— Это ваше право, — великодушно сказал Фарфуркис и выиграл еще один сантиметр.

— Эдик! — умоляюще воззвал я.

Эдик снова заговорил. Он взывал к теням Ломоносова и Эйнштейна, он цитировал передовые центральных газет, он воспевал науку и наших мудрых организаторов, но все было вотще. Лавра Федотовича это затруднение, наконец, утомило, и, прервавши оратора, он произнес только одно слово:

— Неубедительно.

Раздался тяжелый удар. Большая Круглая Печать впилась в мою заявку.

РАЗНЫЕ ДЕЛА

Мы покинули комнату заседаний последними. Я был подавлен. Эдик вел меня под локоть. Он тоже был расстроен, но держался спокойно. Вокруг нас, увлекаемый инерцией своего агрегата, вился старикашка Эдельвейс. Он нашептывал мне слова вечной любви, обещал ноги мыть и воду пить и требовал подъемных и суточных. Эдик дал ему три рубля и велел зайти послезавтра. Эдельвейс выпросил еще полтинник за вредность и исчез. Тогда мне стало легче.

— Ты не отчаивайся, — сказал Эдик. — Еще не все потеряно. У меня есть мысль.

— Какая? — вяло спросил я.

— Ты обратил внимание на речь Лавра Федотовича?

— Обратил, — сказал я. — Зачем это тебе было?

— Я проверял, есть ли у него мозги, — объяснил Эдик.

— Ну и как?

— Ты же видел — есть. Мозги у него есть, и я их ему задействовал. Они у него совсем не задействованы. Сплошные бюрократические рефлексы. Но я внушил ему, что перед ним настоящая эвристическая машина и что сам он не Вунюков, а настоящий администратор с широким кругозором. Как видишь, кое-что получилось. Правда, психическая упругость у него огромная. Когда я убрал поле, никаких признаков остаточной деформации у него не обнаружилось. Каким он был, таким остался. Но ведь это только прикидка, я вот просчитаю все как следует, настрою аппарат, и тогда мы посмотрим. Не может быть, чтобы его нельзя было переделать. Сделаем его порядочным человеком, и нам будет хорошо, и всем будет хорошо, и ему будет хорошо...

— Вряд ли, — сказал я.

— Видишь ли, — сказал Эдик, — существует теория позитивной реморализации. Из нее следует, что любое существо, обладающее хоть искрой разума, можно сделать порядочным. Другое дело, что каждый отдельный случай требует особого метода. Вот мы и поищем этот метод. Так что ты не огорчайся. Все будет хорошо.

Мы вышли на улицу. Снежный Федя уже ждал нас. Он поднялся со скамеечки, и мы втроем, рука об руку, пошли вдоль улицы Первого Мая.

— Трудно было? — спросил Федя.

— Ужасно, — сказал Эдик. — Я и говорить устал, и слушать устал, и вдобавок еще, кажется, сильно поглупел. Вы замечаете, Федя, как я поглупел?

— Нет еще, — сказал Федя застенчиво. — Это обычно становится заметно через час-другой.

Я сказал:

— Хочу есть. Хочу забыться. Пойдемте куда-нибудь и забудемся. Вина выпьем. Мороженого...

Эдик был за, Федя тоже не возражал, хотя извинился, что не пьет вина и не понимает мороженого.

Народу на улицах было много, но никто не слонялся по тротуару, как это обычно бывает в городах летними вечерами. Потомки Олеговых дружинников и Петровских гренадеров тихо, культурно сидели на своих крылечках и молча трещали семечками. Семечки были арбузные, подсолнечные, тыквенные и дынные, а крылечки были резные с узорами, резные с фигурами, резные с балясинами и просто из гладких досок — замечательные крылечки, среди которых попадались и музейные экземпляры многовековой давности, взятые под охрану государства и обезображенные тяжелыми чугунными досками, об этом свидетельствующими. На задах крякала гармонь — кто-то, что называется, пробовал лады.

Эдик, с интересом оглядываясь, расспрашивал Федю о жизни в горах. Федя с самого начала проникся к вежливому Эдику большой симпатией и отвечал охотно.

— Хуже всего, — рассказывал Федя, — это альпинисты с гитарами. Вы не можете себе представить, как это страшно, Эдик, когда в ваших родных тихих горах, где шумят одни лишь обвалы, да и то в известное заранее время, вдруг над ухом кто-то зазвенит, застучит и примется реветь про то, как «нипупок» вскарабкался по «жандарму» и «запилил по гребню» и как потом «ланцепупа» «пробило на землю». Это бедствие, Эдик. У нас некоторые от этого болеют, а самые слабые даже умирают...

— У меня дома клавесин есть, — продолжал он мечтательно. — Стоит у меня там на вершине клавесин, на леднике. Я люблю играть на нем в лунные ночи, когда тихо и совершенно нет ветра. Тогда меня слышат собаки в долине и начинают мне подвывать. Право, Эдик, у меня слезы навертываются на глаза, так это получается хорошо и печально. Луна, звуки в просторе несутся, и далеко-далеко воют собаки...

— А как к этому относятся ваши товарищи? — спросил Эдик.

— Их в это время никого нет. Остается обычно один мальчик, но он не мешает. Он хроменький... Впрочем, это вам неинтересно.

— Наоборот, очень интересно!

— Нет-нет... Но вы, наверное, хотели бы узнать, откуда у меня клавесин. Представьте себе, его занесли альпинисты. Они ставили рекорд и обязались втащить на нашу гору клавесин. У нас на вершине много неожиданных предметов. Задумает альпинист подняться к нам на мотоцикле — и вот у нас мотоцикл, хотя и поврежденный... Гитары попадаются, велосипеды, бюсты разные, зенитные пушки... Один рекордсмен хотел подняться на тракторе, но трактора не раздобыл, а раздобыл он асфальтовый каток. Если б вы видели, как он мучился с этим катком! Как старался! Но ничего у него не вышло, не дотянул до снегов. Метров пятьдесят всего не дотянул, а то бы у нас был асфальтовый каток... А вот и Говорун, сейчас я вас познакомлю.

Мы подошли к дверям кафе. На ярко освещенных ступенях роскошного каменного крыльца в непосредственной близости от турникета отирался Клоп Говорун. Он жаждал войти, но швейцар его не впускал. Говорун был в бешенстве, отчего испускал сильный запах дорогого коньяка «курвуазье». Федя наскоро познакомил его с нами, посадил в спичечный коробок и велел сидеть тихо, и Клоп сидел тихо, но как только мы прошли в зал и отыскали свободный столик, он сразу же развалился на стуле и принялся стучать по столу, требуя официанта. Сам он, естественно, в кафе ничего не ел и не пил, но жаждал справедливости и полного соответствия между работой бригады официантов и тем высоким званием, за которое эта бригада борется. Кроме того, он явно выпендривался перед Эдиком: он уже знал, что Эдик прибыл в Тьмускорпи-

онь лично за ним, Говоруном, в качестве его, Говоруна, работодателя.

Мы с Эдиком заказали себе яичницу по-домашнему, салат из раков и сухое вино. Федю в кафе хорошо знали и принесли ему сырого тертого картофеля, морковную ботву и капустные кочерыжки, а перед Говоруном поставили фаршированные помидоры, которые он заказал из принципа.

Съевши салат, я ощутил, что унижен и оскорблен, что устал, как последняя собака, что язык у меня не поворачивается и что нет у меня никаких желаний. Кроме того, я постоянно вздрагивал, ибо в шуме публики мне то и дело слышались визгливые вскрики: «Ноги мыть и воду пить!.. У ей внутре!..» Зато Говорун, видимо, был в прекрасном настроении и с наслаждением демонстрировал Эдику свой философический склад ума, независимость суждений и склонность к обобщениям.

— До чего бессмысленные и неприятные существа! — говорил он, озирая зал с видом превосходства. — Воистину, только такие грузные жвачные животные способны под воздействием комплекса неполноценности выдумывать миф о том, что они — цари природы. Спрашивается: откуда взялся этот миф? Например, мы, насекомые, считаем себя царями природы по справедливости. Мы многочисленны, вездесущи, мы обильно размножаемся, и многие из нас не тратят драгоценного времени на бессмысленные заботы о потомстве. Мы обладаем органами чувств, о которых вы, хордовые, даже понятия не имеете. Мы умеем погружаться в анабиоз на целые столетия без всякого вреда для себя. Наиболее интеллигентные представители нашего класса прославлены как крупнейшие математики, архитекторы, социологи. Мы открыли идеальное устройство общества, мы овладели гигантскими территориями, мы проникаем всюду, куда захотим. Поставим вопрос следующим образом: что вы, люди, — самые, между прочим, высокоразвитые из млекопи-

тающих, — можете такого, чего бы хотели уметь и не умели бы мы? Вы много хвастаетесь, что умеете изготовлять орудия труда и пользоваться ими. Простите, но это смешно. Вы уподобляетесь калекам, которые хвастают своими костылями. Вы строите себе жилища, мучительно, с трудом, привлекая для этого такие противоестественные силы, как огонь и пар, строите тысячи лет, и все время по-разному, и все никак не можете найти удобной и рациональной формы жилища. А жалкие муравьи, которых я искренне презираю за грубость и приверженность к культу физической силы, решили эту простенькую проблему сто миллионов лет назад — причем решили раз и навсегда. Вы хвастаете, что все время развиваетесь и что вашему развитию нет предела. Нам остается только хохотать. Вы ищете то, что давным-давно найдено, запатентовано и используется с незапамятных времен, а именно: разумное устройство общества и смысл существования...

Эдик слушал профессионально-внимательно, а Федя, покусывая кочерыжку великолепными зубами, произнес:

— Я, конечно, слабый диалектик, но меня воспитали в представлении о том, что человеческий разум — это высшее творение природы. Мы в горах привыкли бояться человеческой мудрости и преклоняться перед нею, и теперь, когда я некоторым образом получил образование, я не устаю восхищаться той смелостью и тем хитроумием, с которым человек уже создал и продолжает создавать так называемую вторую природу. Человеческий разум — это... это... — Он помотал головой и замолк.

— Вторая природа! — ядовито сказал Клоп. — Третья стихия, четвертое царство, пятое состояние, шестое чудо света... Один крупный человеческий деятель мог бы спросить: зачем вам две природы? Загадили одну, а теперь пытаетесь заменить ее другой... Я же вам уже сказал, Федор: вторая природа — это костыли ка-

леки. Что же касается разума... Не вам бы говорить, не мне бы слушать. Сто веков эти бурдюки с питательной смесью разглагольствуют о разуме и до сих пор не могут договориться, о чем идет речь. В одном только они согласны: кроме них, разумом никто не обладает. И ведь что замечательно! Если существо маленькое, если его легко отравить какой-нибудь химической гадостью или просто раздавить пальцем, то с ним не церемонятся. У такого существа, конечно же, инстинкт, примитивная раздражительность, низшая форма нервной деятельности... Типичное мировоззрение самовлюбленных имбецилов*). Но ведь они же разумные, им же нужно все обосновать, чтобы насекомое можно было раздавить без зазрения совести! И посмотрите, Федор, как они это обосновывают. Скажем, земляная оса отложила в норку яички и таскает для будущего потомства пищу. Что делают эти бандиты? Они варварски крадут отложенные яйца, а потом, исполненные идиотского удовлетворения, наблюдают, как несчастная мать закупоривает цементом пустую норку. Вот, мол, оса — дура, не ведает, что творит, а потому у нее инстинкты — слепые инстинкты, вы понимаете? — разума у нее нет, и в случае нужды допускается ее и к ногтю. Ощущаете, какая гнусная подтасовка терминов? Априорно предполагается, что целью жизни осы является размножение и охрана потомства, а раз даже с этой главной своей задачей она не способна толково управиться, то что же с нее взять? У них, у людей, — космос-мосмос, фотосинтез-мотосинтез, а у жалкой осы — сплошное размножение, да и то на уровне примитивного инстинкта. Этим млекопитающим и в голову не приходит, что у осы богатейший духовный мир, что за свою недолгую жизнь она должна преуспеть — ей хочется преуспеть! — и в науках, и в искусствах, этим теплокровным и не ведомо, что у нее просто ни времени, ни

*) Имбецильность — средняя степень врожденного слабоумия. — Ред.

желания нет оглядываться на своих детенышей, тем более, что это и не детеныши даже, а бессмысленные яички... Ну, конечно, у ос существуют правила, нормы поведения, мораль. Поскольку осы от природы весьма легкомысленны в вопросах продления рода, закон, естественно, предусматривает известное наказание за неполное выполнение родительских обязанностей. Каждая порядочная оса должна выполнить определенную последовательность действий: выкопать норку, отложить яички, натаскать парализованных гусениц и закупорить норку. За этим следят, существует негласный контроль, оса всегда учитывает возможность присутствия за ближайшим камешком инспектора-соглядатая. Конечно же, оса видит, что яички у нее украли или что исчезли запасы питания. Но она не может отложить яички вторично, и она совсем не намерена тратить время на возобновление пищевых запасов. Полностью сознавая всю нелепость своих действий, она делает вид, что ничего не заметила, и доводит программу до конца, потому что менее всего ей улыбается таскаться по девяти инстанциям Комитета охраны вида... Представьте себе, Федор, шоссе, прекрасную гладкую магистраль от горизонта до горизонта. Некий экспериментатор ставит поперек дороги рогатку с табличкой: «Объезд». Видимость превосходная, шофер прекрасно видит, что на закрытом участке ему абсолютно ничто не грозит. Он даже догадывается, что это чьи-то глупые шутки, но, следуя правилам и нормам поведения порядочного автомобилиста, он сворачивает на отвратительную обочину, трясется по кочкам, захлебывается в грязи и пыли, тратит массу времени и нервов, чтобы снова выехать на то же шоссе двумястами метрами дальше. Почему? Да все по той же причине: он законопослушен, и он не хочет таскаться по инстанциям ОРУДа, тем более, что у него, как и у осы, есть основания предполагать, что это ловушка и что вон в тех кустах сидит инспектор с мотоциклом. А теперь представим себе, что неведомый экспериментатор ставит этот опыт, дабы ус-

тановить уровень человеческого интеллекта, и что этот экспериментатор — такой же самовлюбленный дурак, как разрушитель осиного гнезда... Ха-ха-ха! К каким бы выводам он ни пришел!.. —Говорун в восторге застучал по столу всеми лапками.

— Нет, — сказал Федя. — Как-то у вас все упрощенно получается, Говорун. Конечно, когда человек ведет автомобиль, он не может блеснуть интеллектом...

— Точно так же, — перебил остроумный Клоп, — как не блещет интеллектом оса, откладывающая яйца. Тут, знаете ли, не до интеллекта.

— Подождите, Говорун, — сказал Федя. — Вы все время меня сбиваете. Я хочу сказать... Ну вот, я и забыл, что хотел сказать... Да! Чтобы насладиться величием человеческого разума, надо окинуть все здание этого разума, все достижения наук, все достижения литературы и искусства. Вот вы пренебрежительно отозвались о космосе, а ведь спутник, ракеты — это великий шаг, это восхищает, и согласитесь, что ни одно членистоногое не способно к таким свершениям.

Клоп презрительно повел усами.

— Я мог бы возразить, что космос членистоногим ни к чему, — произнес он. — Однако людям он тоже ни к чему, и поэтому об этом говорить не будем. Вы не понимаете простых вещей, Федор. У каждого вида существует своя исторически сложившаяся, передающаяся из поколения в поколение мечта. Осуществление такой мечты и называют обычно великим свершением. У людей было две исконных мечты: мечта летать вообще, проистекшая из зависти к насекомым, и мечта слетать к Солнцу, проистекшая из невежества, ибо они полагали, что до Солнца рукой подать. Но нельзя ожидать, что у разных видов, а тем более классов и типов живых существ, Великая мечта должна быть одна и та же. Смешно предполагать, чтобы у мух из поколения в поколение передавалась бы мечта о свободном полете, у спрутов — мечта о морских глубинах, а у нас — цимекс лектулариа — о Солнце, которого мы терпеть

не можем. Каждый мечтает о том, что недостижимо, но обещает удовольствие. Потомственная мечта спрутов, как известно, свободное путешествие по суше, и спруты в своих мокрых пучинах много и полезно думают на этот счет. Извечной и зловещей мечтой вирусов является абсолютное мировое господство, и, как ни ужасны методы, коими они в настоящий момент пользуются, им нельзя отказать в настойчивости, изобретательности и способности к самопожертвованию во имя великой цели. А грандиозная мечта паукообразных? Много миллионов лет назад они опрометчиво выбрались из моря на сушу и с тех пор мучительно мечтают снова вернуться в родную стихию. Вы бы только послушали их песни и баллады о море! Сердце разрывается на части от жалости и сочувствия. В сравнении с этими балладами героический миф о Дедале и Икаре — просто забавная побасенка. И что же? Кое-чего они достигли, причем весьма хитроумным путем, ибо членистоногим вообще свойственны хитроумные решения. Они добиваются своего, создавая новые виды. Сначала они создали водобегающих пауков, потом пауков-водолазов, а теперь во весь ход идут работы над созданием вододышащего паука... Я уж не говорю о нас, клопах. Мы своего достигли давно: когда появились на свет эти бурдюки с питательной смесью... Вы понимаете меня, Федор? Каждому племени своя мечта. Не надо хвастаться достижениями перед своими соседями по планете. Вы рискуете попасть в смешное положение. Вас сочтут глупцами те, кому ваши мечты чужды, и вас сочтут жалкими болтунами те, кто свою мечту осуществил уже давно.

— Я не могу вам ответить, Говорун, — сказал Федя, — но должен признаться, что мне неприятно вас слушать. Во-первых, я не люблю, когда хитрой казуистикой опровергают очевидные вещи, а во-вторых, я все-таки тоже человек.

— Вы — снежный человек. Вы — недостающее звено. С вас взятки гладки. Вы даже, если хотите знать,

несъедобны. А вот почему мне не возражают гомо сапиенсы, так сказать? Почему они не вступаются за честь своего вида, своего класса, своего типа? Объясню: потому что им нечего возразить.

Внимательный Эдик пропустил этот вызов мимо ушей. Мне было что возразить, этот болтун раздражал меня безумно, но я сдерживался, потому что помнил: Федор Симеонович смотрит сейчас в магический кристалл и видит все.

— Нет уж, позвольте мне, — сказал Федя. — Да, я снежный человек. Да, нас принято оскорблять, нас оскорбляют даже люди, ближайшие наши родственники, наша надежда, символ нашей веры в будущее... Нет-нет, позвольте, Эдик, я скажу все, что думаю. Нас оскорбляют наиболее невежественные и отсталые слои человеческого рода, давая нам гнусную кличку «йети», которая, как известно, созвучна со свифтовским «йеху», и кличку «голуб яван», которая означает не то «огромная обезьяна», не то «отвратительный снежный человек». Нас оскорбляют и самые передовые представители человечества, называя нас «недостающим звеном», «человекообезьяной» и другими, научно звучащими, но порочащими нас прозвищами. Может быть, мы действительно достойны некоторого пренебрежения. Мы медленно соображаем, мы слишком уж неприхотливы, в нас так слабо стремление к лучшему, разум наш еще дремлет. Но я верю, я знаю, что это Человеческий разум, находящий наивысшее наслаждение в переделывании природы, сначала окружающей, а в перспективе — и своей собственной. Вы, Говорун, все-таки паразит. Простите меня, но я использую этот термин в научном смысле. Я не хочу вас обидеть, но вы паразит, и вы не понимаете, какое это высокое наслаждение — переделывать природу. И какое это перспективное наслаждение — природа ведь бесконечна, и переделывать ее можно бесконечно долго. Вот почему человека называют царем природы. Потому что он не только изучает природу, не только находит высокое, но пассивное на-

слаждение от единения с нею, но он переделывает природу, он лепит ее по своей нужде, по своему желанию, а потом будет лепить по своей прихоти...

— Ну да! — сказал Клоп. — А покуда он, человек, обнимает некоего Федора за широкие волосатые плечи, выводит его на эстраду и предлагает некоему Федору изобразить процесс очеловечивания обезьяны перед толпой лузгающих семечки обывателей... Внимание! — заорал он вдруг. — Сегодня в клубе лекция кандидата наук Вялобуева-Франкенштейна «Дарвинизм против религии» с наглядной демонстрацией процесса очеловечивания обезьяны! Акт первый: «Обезьяна». Федор сидит у лектора под столом и талантливо ищется под мышками, бегая по сторонам ностальгическими глазами. Акт второй: «Человеко-обезьяна». Федор, держа в руках палку от метлы, бродит по эстраде, ища, что забить. Акт третий: «Обезьяна-человек». Федор, под наблюдением и руководством пожарника, разводит на железном противне небольшой костер, изображая при этом ужас и восторг одновременно. Акт четвертый: «Человека создал труд». Федор с испорченным отбойным молотком изображает первобытного кузнеца. Акт пятый: «Апофеоз». Федор садится за пианино и наигрывает «Турецкий марш»... Начало лекции в шесть часов, после лекции новый заграничный фильм «На последнем берегу» и танцы!

Чрезвычайно польщенный Федя застенчиво улыбнулся.

— Ну, конечно, Говорун, — сказал он растроганно. — Я же знал, что существенных разногласий между нами нет. Конечно же, именно вот таким образом, понемножку, полегоньку, разум начинает творить свои благодетельные чудеса, обещая в перспективе Архимедов, Ньютонов и Эйнштейнов. Только вы напрасно так уж преувеличиваете мою роль в этом культурном мероприятии, хотя я понимаю — вы просто хотите сделать мне приятное.

Клоп посмотрел на него бешеными глазами, а я злорадно хихикнул. Федя забеспокоился.

— Я что-нибудь не так сказал? — спросил он.

— Вы молодец, — сказал я. — Вы его так отбрили, что он даже осунулся. Видите, он даже фаршированные помидоры стал жрать от бессилия...

— Да, Говорун, я слушаю вас с интересом, — сказал Эдик. — Я, конечно, вовсе не намерен вам возражать, потому что, как я рассчитываю, у нас с вами впереди еще много диспутов по более серьезным вопросам. Я только хотел бы констатировать, что, к сожалению, в ваших рассуждениях слишком много человеческого и слишком мало оригинального, присущего лишь психологии цимекс лектулариа.

— Хорошо, хорошо, — с раздражением вскричал Клоп. — Все это прекрасно. Но, может быть, хоть один представитель гомо сапиенс снизойдет до прямого ответа на те соображения, которые мне позволено было здесь высказать? Или, повторяю, ему нечего возразить? Или человек разумный имеет к разуму не больше отношения, чем змея очковая к широко распространенному оптическому устройству? Или у него нет аргументов, доступных пониманию существа, которое обладает лишь примитивными инстинктами?

И тут я не выдержал. У меня был аргумент, доступный пониманию, и я его с удовольствием использовал. Я продемонстрировал Говоруну свой указательный палец, а затем сделал движение, словно бы стирая со стола упавшую каплю.

— Очень остроумно, — сказал Клоп, бледнея. — Вот уж воистину — на уровне высшего разума...

Федя робко попросил, чтобы ему объяснили смысл этой пантомимы, однако Говорун объявил, что все это вздор.

— Мне здесь надоело, — преувеличенно громко сообщил он, барски озираясь. — Пойдемте отсюда.

Я расплатился, и мы вышли на улицу, где остановились, решая, что делать дальше. Эдик предложил

пойти в гостиницу и попытаться устроиться, но Федя сказал, что в Тьмускорпиони гостиница — не проблема: во всей гостинице живут только члены Тройки, а остальные номера пустуют. Я посмотрел на угнетенного Клопа, почувствовал угрызения совести и предложил прогуляться по берегу Скорпионки под луной. Федя поддержал меня, но Клоп Говорун запротестовал: он устал, ему надоели бесконечные разговоры, он в конце концов голоден, он лучше пойдет в кино. Нам стало его совсем жалко — так он был потрясен и шокирован моим жестом, — может быть, действительно несколько бестактным, — и мы направились было в кино, но тут из-за пивного ларька на нас вынесло старикашку Эдельвейса. В одной руке он сжимал пивную кружку, а другой цеплялся за свой агрегат. Заплетающимся языком он выразил свою преданность науке и лично мне и потребовал сметных, высокогорных, а также покупательных на приобретение каких-то разъемов. Я дал ему рубль, и он вновь устремился за ларек.

По дороге в кино Говорун все никак не мог успокоиться. Он бахвалился, задирал прохожих, сверкал афоризмами и парадоксами, но видно было, что ему все еще крайне не по себе. Чтобы вернуть Клопу душевное равновесие, Эдик рассказал ему о том, какой гигантский вклад он, Клоп Говорун, может совершить в теорию Линейного Счастья, и прозрачно намекнул на мировую славу и на неизбежность длительных командировок за границу, в том числе в экзотические страны. Душевное равновесие было восстановлено полностью, Говорун явно приободрился, посолиднел и, как только в кинозале погас свет, тут же полез по рядам кусаться, так что мы с Эдиком не получили никакого удовольствия: Эдик боялся, что Говоруна тихо раздавят, я же ждал безобразного скандала. Кроме того, в зале было душно, фильм показывали тошнотворный, и мы с облегчением вздохнули, когда все кончилось.

Светила луна, со Скорпионки несло прохладой. Федя виновато сообщил, что у него режим и ему пора

спать. Было решено проводить его до Колонии. Мы пошли берегом. Внизу под обрывом величественно несла в своих хрустальных струях ядовитые сточные воды древняя Скорпионка. На той стороне вольно раскинулись в лунном свете заливные луга. На горизонте темнела зубчатая кромка далекого леса. Над какими-то мрачными полуобрушившимися башнями, сверкая опознавательными огнями, совершало эволюции небольшое летающее блюдце.

— Что это за развалина? — спросил Эдик.

— Это Соловьиная Крепость, — ответил Федя.

— Что вы говорите! — поразился Эдик. — Та самая? Из-под Мурома?

— Да. Двенадцатый век.

— А почему только две башни? — спросил Эдик.

Федя объяснил ему, что до осады было четыре: Кикимора, Аукалка, Плюнь-Ядовитая и Уголовница. Годзилла прожег стену между Аукалкой и Уголовницей, ворвался во двор и вышел защитникам в тыл. Однако он был дубина, по слухам — самый здоровенный и самый глупый из четырехглавых драконов. В тактике он не разбирался и не хотел разбираться, а потому, вместо того, чтобы сосредоточенными ударами сокрушить одну башню за другой, кинулся на все четыре сразу, благо голов как раз хватало. В осаде же сидела нечисть бывалая и самоотверженная, — братья Разбойники сидели, Соловей Одихмантьевич и Лягва Одихмантьевич, с ними Лихо Одноглазое, а также союзный злой дух Кончар по прозвищу Прыш. И Годзилла, естественно, пострадал через дурость свою и жадность. Вначале, правда, ему повезло осилить Кончара, скорбного в тот день вирусным гриппом, и в Плюнь-Ядовитую алчно ворвался Годзиллов прихвостень Вампир Боевульф, который, впрочем, тут же прекратил военные действия и занялся пьянством и грабежами. Однако это был первый и единственный успех Годзиллы за всю кампанию. Соловей Одихмантьевич на пороге

Аукалки дрался бешено и весело, не отступая ни на шаг. Лягва Одихмантьевич по малолетству отдал было первый этаж Кикиморы, но на втором закрепился, раскачал башню и обрушил ее вместе с собою на атаковавшую его голову в тот самый момент, когда хитрое и хладнокровное Лихо Одноглазое, заманившее правофланговую голову в селитряные подвалы Уголовницы, взорвало башню на воздух со всем содержимым. Лишившись половины голов, и без того недалекий Годзилла окончательно одурел, пометался по крепости, давя своих и чужих, и, брыкаясь, кинулся в отступ. На том бой и кончился. Захмелевшего Боевульфа Соловей Одихмантьевич прикончил акустическим ударом, после чего и сам скончался от множественных ожогов. Уцелевшие ведьмы, лешие, водяные, аукалки, кикиморы и домовые перебили деморализованных вурдалаков, троллей, гномов, сатиров, наяд и дриад и, лишенные отныне руководства, разбрелись в беспорядке по окрестным лесам. Что же касается дурака Годзиллы, то его занесло в большое болото, именуемое ныне Коровьим Вязлом, где он вскорости и подох от газовой гангрены.

— Любопытно, —проговорил Эдик, вглядываясь в темные мохнатые глыбы Аукалки и Плюнь-Ядовитой. — А вход туда свободный?

— Свободный, — сказал Федя. — За пятачок.

Прогулка получилась на славу. Федя объяснял нам устройство Вселенной, и попутно выяснилось, что он простым глазом видит кольца Сатурна и Красное Пятно на Юпитере. Завистливый Клоп азартно доказывал ему, что все это хорошо оплаченный вздор, а на самом деле Вселенная имеет форму пружинного матраса. Вокруг все время крутился застенчивый Кузька, птеродактиль обыкновенный. Собственно, в темноте мы его так и не разглядели. Он дробно топотал где-то впереди, со слабым кваканьем трещал кустами рядом, а иногда вдруг взлетал, закрывая луну растопыренными крыльями. Мы звали его, обещая лакомства и дружбу, но он так и не решился приблизиться.

В Колонии мы познакомились также с пришельцем Константином. Константину сильно не повезло. Его летающее блюдце совершило вынужденную посадку около года назад. При посадке корабль испортился окончательно, и защитное силовое поле, которое автоматически создавалось в момент приземления, убрать Константину не удалось. Поле это было устроено так, что не пропускало ничего постороннего. Сам Константин со своей одеждой и с деталями двигателя мог ходить через сиреневую пленку в обе стороны совершенно беспрепятственно. Но семейство полевых мышей, случайно оказавшееся на месте посадки, так там и осталось, и Константин вынужден был скармливать ему небогатые свои запасы, так как земную пищу пронести под защитный колпак не мог даже в своем желудке. Под колпаком оказались также забытые кем-то на парковой аллее тапочки, и это было единственное из земных благ, от которого Константину была хоть какая-то польза. Кроме тапочек и мышей, в защитном поле были заключены: два куста волчьей ягоды, часть чудовищной садовой скамейки, изрезанной всевозможными надписями, и четверть акра сыроватой, никогда не просыхающей почвы.

Константиновы дела были плохи. Звездолет не желал чиниться. В местных мастерских не было, естественно, ни подходящих запчастей, ни специального оборудования. Кое-что можно было бы достать в научных центрах мира, но требовалось ходатайство Тройки, и Константин с нетерпением вот уже много месяцев ждал вызова. Он возлагал некоторые надежды на помощь землян, он рассчитывал, что ему хотя бы удастся снять проклятое защитное поле и привести, наконец, на корабль какого-нибудь крупного ученого, но в общем-то он был настроен скорее пессимистически, он был готов к тому, что земная техника окажется в состоянии помочь ему только лет через двести.

Константиново летающее блюдце, сияя, как гигантская газосветная лампа, стояло недалеко от дороги. Из-под блюдца торчали ноги Константина, обутые в скороходовские тапочки сорок четвертого размера. Ноги отлягивались от семейства мышей, настойчиво требовавших ужина. Федя постучал в защитное поле, и Константин, увидев нас, выбрался из-под блюдца. Он прикрикнул на мышей и вышел к нам. Знаменитые тапочки, конечно, остались внутри, и мыши тотчас устроили в них временное обиталище. Мы представились, выразили сочувствие и спросили, как дела. Константин бодро сообщил, что, кажется, начало получаться, и перечислил два десятка незнакомых нам приборов, которые были ему необходимы. Он оказался очень общительным и дружелюбным разумным существом. А может быть, он просто истосковался по собеседникам. Мы его расспрашивали, он с охотою отвечал. Но выглядел он неважно, и мы сказали ему, что вредно так много работать и что пора спать. Минут через десять мы объясняли ему, что такое «спать», после чего он признался, что это ему совсем не интересно и что он лучше не станет этим заниматься. Кроме того, близилось время кормить мышей. Он пожал нам руки и снова полез под блюдце. Мы распрощались с Федей и Клопом и отправились в гостиницу. Время было уже позднее, город засыпал, и только далеко-далеко играла гармошка, и чистые девичьи голоса сообщали:

Ухажеру моему
Я говорю трехглазому:
Нам поцалуи ни к чему —
Мы братия по разуму!..

ДЕЛО № 72. ПРИШЕЛЕЦ КОНСТАНТИН

Утреннее солнце, вывернув из-за угла, теплым потоком ворвалось в раскрытые окна комнаты заседаний, когда на пороге появился каменнолицый Лавр Федо-

тович и немедленно предложил задернуть шторы. «Народу это не нужно», — объяснил он. Сейчас же следом за ним появился Хлебовводов, подталкивая впереди себя Выбегаллу. Выбегалло, размахивая портфелем, горячо толковал ему что-то по-французски, а Хлебовводов приговаривал: «Ладно, ладно тебе, развоевался...» Когда комендант задернул шторы, на пороге возник Фарфуркис. Он что-то жевал и утирался. Невнятной скороговоркой, извинившись за опоздание, он разом проглотил все недожеванное и завопил:

— Протестую! Вы с ума сошли, товарищ Зубо! Немедленно убрать эти шторы! Что за манера отгораживаться и бросать тень?

Возник крайне неприятный инцидент, и все время, пока инцидент распутывался, пока Фарфуркиса унижали, сгибали в бараний рог, вытирали об него ноги и выбивали ему бубну, Выбегалло, как бы говоря: «Вот злонравия достойные плоды!», укоризненно качал головой и многозначительно поглядывал в мою сторону. Потом Фарфуркиса, растоптанного, растерзанного, измочаленного и измолоченного, пустили униженно догнивать на его место, а сами, отдуваясь, опуская засученные рукава, вычищая клочья шкуры из-под когтей, облизывая окровавленные клыки и время от времени непроизвольно взрыкивая, расселись за столом и объявили себя готовыми к утреннему заседанию.

— Гррм, — произнес Лавр Федотович, бросив последний взгляд на распятые останки. — Следующий! Докладывайте, товарищ Зубо.

Комендант впился в раскрытую папку скрюченными пальцами, в последний раз глянул поверх бумаг на поверженного врага налитыми глазами, в последний раз с оттяжкой кинул задними лапами землю, поклокотал горлом и, только втянув жадно раздутыми ноздрями сладостный аромат разложения, окончательно успокоился.

— Дело семьдесят второе, — забарабанил он, — Константин Константинович Константинов двести три-

надцатый до новой эры город Константинов планеты Константины звезды Антарес...

— Я бы попросил! — прервал его Хлебовводов. — Ты что это нам читаете? Ты это нам роман читаете? Или водевиль? Ты, братик, анкету нам зачитываете, а получается у тебя водевиль.

Лавр Федотович взял бинокль и направил на коменданта. Комендант сник.

— Это, помню, в Сызрани, — продолжал Хлебовводов, — бросили меня заведующим курсов квалификации среднего персонала, так там тоже был один — улицу не хотел подметать... Только не в Сызрани, помнится, это было, а в Саратове... Ну да, точно, в Саратове! Сперва я там школу мастеров-крупчатников укреплял, а потом, значит, бросили меня на эти курсы... Да, в Саратове, в пятьдесят втором году, зимой. Морозы, помню, как в Сибири... Нет, — сказал он с сожалением, — не в Саратове это было. В Сибири это и было, а вот в каком городе — вылетело из башки. Вчера еще помнил, эх, думаю, хорошо бы там, в этом городе...

Он замолчал, мучительно приоткрыв рот. Лавр Федотович подождал немного, осведомился, есть ли вопросы к докладчику, убедился, что вопросов нет, и предложил Хлебовводову продолжать.

— Лавр Федотович, — прочувственно сказал Хлебовводов. — Забыл, понимаете, город. Ну, забыл и все. Пускай он пока дальше зачитывает, а я покуда вспомню... Только пускай он по форме, пускай пункты называет и не частит, а то ведь безобразие получается...

— Продолжайте докладывать, товарищ Зубо, — сказал Лавр Федотович.

— Пункт пятый, — прочитал комендант с робостью. — Национальность...

Фарфуркис позволил себе слабо шевельнуться и сейчас же испуганно замер. Однако Хлебовводов уловил это движение и приказал коменданту:

— Сначала. Сначала! Сызнова читайте!

— Пункт первый, — сказал комендант. — Фамилия...

Пока он читал сызнова, я рассматривал Эдиков реморализатор. Это была плоская блестящая коробочка со стеклами, похожая на игрушечный автомобильчик. Эдик управлялся с этим приборчиком удивительно ловко. Я бы так не мог. Пальцы у него двигались, как змеи. Я загляделся.

— Херсон! — заорал вдруг Хлебовводов. — В Херсоне это было, вот где... Ты, давайте, продолжайте, — сказал он вздрогнувшему коменданту. — Это я так, вспомнил... — Он сунулся к уху Лавра Федотовича и, млея от смеха, принялся ему что-то нашептывать, так что черты лица товарища Вунюкова обнаружили тенденцию к раздеревенению, и он был вынужден прикрыться от демократии обширной ладонью.

— Пункт шестой, — нерешительно зачитал комендант. — Образование: высшее син... кри... кре... кретическое.

Фарфуркис дернулся и пискнул, но опять не посмел. Хлебовводов ревниво вскинулся.

— Какое? Какое образование?

— Синкретическое, — повторил комендант единым духом.

— Ага, — сказал Хлебовводов и поглядел на Лавра Федотовича.

— Это хорошо, — веско произнес Лавр Федотович. — Мы любим самокритику. Продолжайте докладывать, товарищ Зубо.

— Пункт седьмой. Знание иностранных языков: все без словаря.

— Чего-чего? — сказал Хлебовводов.

— Все, — повторил комендант. — Без словаря.

— Вот так самокритическое, — сказал Хлебовводов. — Ну ладно, мы это проверим.

— Пункт восьмой. Профессия и место работы в настоящее время: читатель поэзии, амфибрахист, пребывает в краткосрочном отпуске. Пункт девятый...

— Подождите, — сказал Хлебовводов. — Работает-то он где?

— В настоящее время он в отпуске, — пояснил комендант. — В краткосрочном.

— Это я без тебя понял, — возразил Хлебовводов. — Я говорю: специальность у него какая?

Комендант поднял папку к глазам.

— Читатель... — сказал он. — Стихи, видно, читает.

Хлебовводов ударил по столу ладонью.

— Я тебе не говорю, что я глухой, — сказал он. — Что он читает, это я слышал. Читает и пусть читает в свободное от работы время. Специальность, говорю! Работает где, кем?

Выбегалло отмалчивался, и я не вытерпел.

— Его специальность — читать поэзию, — сказал я. — Он специализируется по амфибрахию.

Хлебовводов посмотрел на меня с подозрением.

— Нет, — сказал он. — Амфибрахий — это я понимаю. Амфибрахий там... то, се... Я что хочу уяснить? Я хочу уяснить, за что ему зарплату плотят.

— У них зарплаты как таковой нет, — пояснил я.

— А! — обрадовался Хлебовводов. — Безработный! — Но он тут же опять насторожился. — Нет, не получается!.. Концы с концами у вас не сходятся. Зарплаты нет, а отпуск есть. Что-то вы тут крутите, изворачиваетесь тут что-то...

— Грррм, — произнес Лавр Федотович. — Имеется вопрос к докладчику, а также к научному консультанту. Профессия дела номер семьдесят два.

— Читатель поэзии, — быстро сказал Выбегалло. — И вдобавок... эта... амфибрахист.

— Место работы в настоящее время, — сказал Лавр Федотович.

— Пребывает в краткосрочном отпуске. Отдыхает, значит, краткосрочно.

Лавр Федотович, не поворачивая головы, перекатил взгляд в сторону Хлебовводова.

— Имеются еще вопросы? — осведомился он.

Хлебовводов тоскливо заерзал. Простым глазом было видно, как высокая доблесть солидарности с мнением начальства бьется в нем с не менее высоким чувством гражданского долга. Наконец гражданский долг победил, хотя и с заметным для себя ущербом.

— Что я должен сказать, Лавр Федотович, — залебезил Хлебовводов. — Ведь вот что я должен сказать! Амфибрахист — это вполне понятно. Амфибрахий там... то, се... И насчет поэзии все четко. Пушкин там, Михалков, Корнейчук... А вот читатель. Нет же в номенклатуре такой профессии! И понятно, что нет. А то как это получится? Я, значит, стишки почитываю, а мне за это — блага, мне за это — отпуск... Вот что я должен уяснить.

Лавр Федотович взял бинокль и воззрился на Выбегаллу.

— Заслушаем мнение консультанта, — объявил он.

Выбегалло поднялся.

— Эта... — сказал он и погладил бороду. — Товарищ Хлебовводов правильно здесь заостряет вопрос и верно расставляет акценты. Народ любит стихи — се ля мэн сюр ле кёр ке же ву ле ди[1]. Но всякие ли стихи нужны народу? Же ву деманд анпё[2], всякие ли? Мы с вами, товарищи, знаем, что далеко не всякие. Поэтому мы должны очень строго следовать... эта... определенному, значить, курсу, не терять из виду маяков и... эта... ле вин этире или фо ле буар[3]. Мое личное мнение вот такое: эдэ-туа э дьё тедера[4]. Но я предложил бы еще заслушать присутствующего здесь представителя снизу товарища Привалова, вызвать его, так сказать, в качестве свидетеля...

---

[1] Я говорю вам это, положа руку на сердце.

[2] Я вас спрашиваю.

[3] Когда вино откупорено, его следует выпить.

[4] Помогай себе сам, тогда и Бог тебе поможет.

Лавр Федотович перевел бинокль на меня. Хлебовводов сказал:

— А что ж, пускай. Все равно он постоянно выскакивает, не терпится ему, вот пускай и прояснит, раз он такой шустрый...

— Вуаля, — с горечью сказал Выбегалло, — ледукасьён кон донно женбом дапрезан![1]

— Вот я и говорю: пускай, — повторил Хлебовводов.

— У них там очень много поэтов, — объяснил я. — Все пишут стихи, и каждый поэт, естественно, хочет иметь своего читателя. Читатель же — существо неорганизованное, он этой простой вещи не понимает. Он с удовольствием читает хорошие стихи и даже заучивает их наизусть, а плохие знать не желает. Создается ситуация несправедливости, неравенства, а поскольку жители там очень деликатны и стремятся, чтобы всем было хорошо, создана специальная профессия — читатель. Одни специализируются по ямбу, другие — по хорею, а Константин Константинович — крупный специалист по амфибрахию и осваивает сейчас александрийский стих, приобретает вторую специальность. Цех этот, естественно, вредный, и читателям полагается не только усиленное питание, но и частые краткосрочные отпуска.

— Это я все понимаю! — проникновенно вскричал Хлебовводов. — Ямбы там, александриты... Я одного не понимаю: за что же ему деньги платят? Ну, сидит он, ну, читает. Вредно, знаю! Но чтение — дело тихое, внутреннее, как ты его проверишь, читает он или кимарит, сачок? Я помню, заведовал я отделом в инспекции по карантину и защите растений, так у меня попался один... Сидит на заседании и вроде бы слушает, даже записывает что-то в блокноте, а на деле — спит, прощелыга! Сейчас по конторам многие навострились спать с открытыми глазами... Так вот я и не понимаю:

---

[1] Вот воспитание, какое дают теперь молодым людям.

наш-то как? Может, врет? Не должно же быть такой профессии, чтобы контроль был невозможен — работает человек или, наоборот, спит?

— Это все не так просто, — вмешался Эдик, оторвавшись от настройки реморализатора. — Ведь он не только читает: ему присылают все стихи, написанные амфибрахием. Он должен все их прочесть, понять, найти в них источник высокого наслаждения, полюбить их и, естественно, обнаружить какие-нибудь недостатки. Об этих всех своих чувствах и размышлениях он обязан регулярно писать авторам и выступать на творческих вечерах этих авторов, на читательских конференциях, и выступать так, чтобы авторы были довольны, чтобы они чувствовали свою необходимость... Это очень, очень тяжелая профессия, — заключил он. — Константин Константинович — настоящий герой труда.

— Да, — сказал Хлебовводов. — Теперь я уяснил. Полезная профессия. И система мне нравится. Хорошая система, справедливая.

— Продолжайте докладывать, товарищ Зубо, — произнес Лавр Федотович.

Комендант вновь поднес папку к глазам.

— Пункт девятый. Был ли за границей: был. В связи с неисправностью двигателя четыре часа находился на острове Рапа-Нуи.

Фарфуркис что-то неразборчиво пропищал, и Хлебовводов тотчас подхватился.

— Это чья же нынче территория? — обратился он к Выбегалле.

Профессор Выбегалло, добродушно улыбнувшись, широким снисходительным жестом отослал его ко мне.

— Дадим слово молодежи, — сказал он.

— Территория Чили, — объяснил я.

— Чили, Чили... — забормотал Хлебовводов, тревожно поглядывая на Лавра Федотовича. Лавр Федотович хладнокровно курил. — Ну, раз Чили — ладно тогда, — решил Хлебовводов. — И четыре часа только... Ладно. Что там дальше?

— Протестую! — с безумной храбростью прошептал Фарфуркис, но комендант уже читал дальше:

— Пункт десятый. Краткая сущность необъясненности: разумное существо со звезды Антарес. Летчик космического корабля под названием летающее блюдце...

Лавр Федотович не возражал. Хлебовводов, глядя на него, одобрительно кивнул, и комендант продолжал:

— Пункт одиннадцатый. Данные о ближайших родственниках... Тут большой список.

— Читайте, читайте, — сказал Хлебовводов.

— Семьсот девяносто три лица, — предупредил комендант.

— И не пререкайтесь. Твое дело читать, вот и читайте. И разборчиво.

Комендант вздохнул и начал:

— Родители — А, Бе, Ве, Ге, Де, Е, Ё, Же...

— Ты это чего? Ты постой... Ты погоди... — сказал Хлебовводов, от изумления утратив дар вежливости. — Ты что, в школе? Мы тебе что, дети?

— Как написано, так и читаю, — огрызнулся комендант и продолжал, повысив голос: — Зе, И, Й, Ке...

— Грррм, — произнес Лавр Федотович. — Имеется вопрос к докладчику. Отец дела номер семьдесят два. Фамилия, имя, отчество.

— Одну минутку, — вмешался я. — У Константина Константиновича девяносто четыре родителя пяти различных полов, девяносто шесть собрачников четырех различных полов, двести семь детей пяти различных полов и триста девяносто шесть соутробцев пяти различных полов.

Эффект моего сообщения превзошел все ожидания. Лавр Федотович в замешательстве взял бинокль и поднес его ко рту. Хлебовводов беспрерывно облизывался. Фарфуркис яростно листал записную книжку.

На Выбегалло надеяться не приходилось, и я готовился к генеральному сражению — углублял траншеи до полного профиля, минировал танкоопасные направ-

ления, оборудовал отсечные позиции. Погреба ломились от боеприпасов, артиллеристы застыли у орудий, пехоте было выдано по чарке водки. Тишина тянулась, набухала грозой, насыщалась электричеством, и рука моя уже легла на телефонную трубку — я готов был скомандовать упреждающий атомный удар, однако все это ожидание рева, грохота, лязга окончилось пшиком. Хлебовводов вдруг осклабился, наклонился к уху Лавра Федотовича и принялся что-то нашептывать ему, бегая по углам замаслившимися глазками. Лавр Федотович спустил обслюненный бинокль, прикрылся ладонью и произнес дрогнувшим голосом:

— Продолжайте докладывать, товарищ Зубо.

Комендант с готовностью отложил список родственников и зачитал:

— Пункт двенадцатый. Адрес постоянного местожительства: Галактика, звезда Антарес, планета Константина, государство Константия, город Константинов, вызов 457 дробь 14-9. Всё.

— Протестую, — сказал Фарфуркис окрепшим голосом.

Лавр Федотович благосклонно взглянул на него. Опала кончилась, и Фарфуркис со слезами счастья на глазах затарахтел: — Я протестую! В описании возраста допущена явная нелепость. В анкете указана дата рождения — двести тринадцатый год до новой эры. Если бы это было так, то делу номер семьдесят два было бы сейчас больше двух тысяч лет, что на две тысячи лет превышает максимальный известный науке возраст. Я требую уточнить дату и наказать виновного.

Хлебовводов ревниво спросил:

— А может быть, он горец, откуда вы знаете?

— Но позвольте! — вскричал Фарфуркис. — Даже горцы...

— Не позволю я, — сказал Хлебовводов. — Не позволю я вам преуменьшать достижения наших славных горцев! Если хотите знать, то максимально возможный

возраст наших горцев предела не имеет! — и он победоносно поглядел на Лавра Федотовича.

— Народ... — произнес Лавр Федотович. — Народ вечен. Пришельцы приходят и уходят, а народ наш, великий народ, пребывает вовеки.

Фарфуркис и Хлебовводов задумались, прикидывая, в чью же пользу высказался председатель. Ни тому, ни другому рисковать не хотелось. Один был на гребне и не желал из-за какого-то паршивого пришельца с этого гребня ссыпаться. Другой, глубоко внизу, висел над пропастью, но ему только что была сброшена спасательная бечевка. А между тем Лавр Федотович произнес:

— У вас все, товарищ Зубо? Вопросы есть? Нет вопросов? Есть предложение вызвать дело, поименованное Константиновым Константином. Других предложений нет? Пусть дело войдет.

Комендант закусил губу, вытащил из кармана перламутровый шарик и, зажмурившись, сильно сжал его между пальцами. Раздался звук откупориваемой бутылки, и рядом с демонстрационным столом появился Константин. По-видимому, вызов захватил его во время работы: он был в комбинезоне, заляпанном флюоресцентной смазкой, передние руки его были в рабочих металлических перчатках, а задние он торопливо вытирал о спину. Все четыре глаза его еще хранили озабоченное, деловое выражение. По комнате распространился сильный запах Большой Химии.

— Здравствуйте, — сказал Константин обрадованно, сообразив, наконец, куда попал. — Наконец-то вы меня вызвали. Правда, дело мое пустяковое, неловко даже вас беспокоить, но я в безвыходном положении, мне только и остается, что просить о помощи. Чтобы не задерживать долго ваше внимание, — что мне нужно? — он принялся загибать пальцы на правой передней руке. — Лазерную сверлильную установку — но самой высокой мощности. Плазменную горелку, у вас такие уже есть, я знаю. Два инкубатора на тысячу яиц

каждый. Для начала мне этого хватит, но хорошо бы еще квалифицированного инженера, и чтобы разрешили работать в лабораториях ФИАНА...

— Так какой же это пришелец? — с изумлением и негодованием произнес Хлебовводов. — Какой он, я спрашиваю, пришелец, если я его каждый день вижу в ресторане? Вы, собственно, гражданин, кто такой и как сюда попали?

— Я — Константин из системы Антареса... — Константин смутился. — Я думал, что вы уже все знаете... Меня уже опрашивали, я анкету заполнял... — Он заметил Выбегаллу и приветливо ему улыбнулся. — Ведь это вы меня спрашивали, верно?

Хлебовводов тоже обратился к Выбегалле.

— Так это, по-вашему, пришелец? — язвительно спросил он.

— Эта... — сказал Выбегалло с достоинством. — Современная наука не отрицает, значить, возможности прибытия пришельцев, товарищ Хлебовводов, надо быть в курсе. Это официальное мнение, не мое, а гораздо более ответственных научных работников... Джордано Бруно, например, высказался по этому вопросу вполне официально... Академик Волосянис Левон Альфредович тоже... и... эта... писатели, Уельс, например, или, скажем, Чугунец...

— Странные какие-то дела творятся, — сказал Хлебовводов с недоверием. — Пришельцы какие-то странные пошли...

— Я вот смотрю фотографию в деле, — подал голос Фарфуркис, — и вижу, что общее сходство имеется, но у товарища на фотографии две руки, а у этого неизвестного гражданина — четыре. Как это с точки зрения науки может быть объяснено?

Выбегалло разразился длиннейшей французской цитатой, смысл которой сводился к тому, что некий Артур любил поутру выйти на берег моря, предварительно выпив чашку шоколада. Я перебил его и сказал:

— Костя, встаньте, пожалуйста, к товарищу Фарфуркису лицом.

Константин повиновался.

— Так-так-так, — сказал Фарфуркис. — с этим мы разобрались... Должен вам сказать, Лавр Федотович, что сходство фотографии с этим вот товарищем несомненное. Вот четыре глаза я вижу... да, четыре. Носа нет. Да... Рот крючком. Все правильно.

— Ну, не знаю, — сказал Хлебовводов. — О пришельцах ясно писали в прессе, и утверждалось там, что если бы пришельцы существовали, они давали бы нам о себе знать. А поскольку, значит, не дают о себе знать, то их и нет, а есть выдумка недобросовестных лиц... Вы — пришелец? — гаркнул он вдруг на Константина.

— Да, — сказал Константин, попятившись.

— Знать вы о себе давали?

— Я не давал, — сказал Константин. — Я вообще не собирался у вас приземляться. И дело ведь не в этом, по-моему...

— Нет уж, гражданин хороший, ты мне это бросьте. Именно в этом дело и есть. Дал о себе знать — милости просим, хлеб-соль выносим, пей-гуляй. А не дал — не обессудь. Амфибрахий амфибрахием, а мы тут тоже деньги не даром получаем. Мы тут работаем и отвлекаться на посторонних не можем. Таково мое общее мнение.

— Гррм, — произнес Лавр Федотович. — Кто еще желает высказаться?

— Я, с вашего позволения, — попросил Фарфуркис. — Товарищ Хлебовводов в целом верно изобразил положение вещей. Однако мне кажется, что несмотря на загруженность работой мы не должны отмахиваться от товарища. Мне кажется, мы должны подойти более индивидуально к этому конкретному случаю. Я — за более тщательное расследование. Никто не должен получить возможность обвинять нас в поспешности, бюрократизме и бездушии, с одной стороны, а также в халатности, прекраснодушии и отсутствии бдитель-

ности, с другой стороны. С позволения Лавра Федотовича я предложил бы провести дополнительный опрос гражданина Константинова с целью выяснения его личности.

— Чего это мы будем подменять собой милицию? — сказал Хлебовводов, чувствуя, что поверженный соперник вновь неудержимо лезет вверх по склону.

— Прошу прощения! — сказал Фарфуркис. — Не подменять собой милицию, а содействовать исполнению духа и буквы инструкции, где в параграфе девятом главы первой части шестой сказано по этому поводу... — Голос его повысился до торжествующей звонкости. — «В случае, когда идентификация, произведенная научным консультантом совместно с представителями администрации, хорошо знающим местные условия, вызывает сомнения Тройки, надлежит произвести дополнительное изучение дела на предмет уточнения идентификации совместно с уполномоченным Тройки или на одном из заседаний Тройки». Что я и предлагаю.

— Инструкция, инструкция, — сказал Хлебовводов гнусаво. — Мы будем по инструкции, а он тут нам голову будет морочить, жулик четырехглазый... время будет у нас отнимать. Народное время! — воскликнул он страдальчески, косясь на Лавра Федотовича.

— Почему же это я жулик? — осведомился Константин с возмущением. — Вы меня оскорбляете, гражданин Хлебовводов. И вообще я вижу, что вам совершенно безразлично, пришелец я или не пришелец, вы только стараетесь подсидеть гражданина Фарфуркиса и выиграть в глазах гражданина Вунюкова...

— Клевета! — наливаясь кровью, заорал Хлебовводов. — Оговаривают! Да что же это, товарищи? Двадцать пять лет, куда прикажут... Ни одного взыскания... Всегда с повышением...

— И опять врете, — хладнокровно сказал Константин. — Два раза вас выгоняли без всякого повышения.

— Да это навет! Лавр Федотович!.. Товарищи!.. Много на себя берете, гражданин Константинов! Мы

еще посмотрим, чем ваша сотня родителей занималась, что это были за родители... Набрал, понимаете, родственников целое учреждение...

— Гррм, — проговорил Лавр Федотович. — Есть предложение прекратить прения и подвести черту. Другие предложения есть?

Наступила тишина. Фарфуркис, не слишком скрываясь, торжествовал, Хлебовводов вытирался платком, а Константин пристально вглядывался в Лавра Федотовича, явно тщась прочесть его мысли или хотя бы проникнуть в его душу, однако видно было, что все его старания пропадают втуне, и в четырехглазом безносом лице его виделась мне все более отчетливо проступающая разочарованность опытного кладоискателя, который отвалил заветный камень, засунул по плечо руку в древний тайник, но никак не может там нащупать ничего, кроме нежной пыли, липкой паутины и каких-то неопределенных крошек.

— Поскольку других предложений не поступает, — провозгласил Лавр Федотович, — приступим к расследованию дела. Слово предоставляется... — Он сделал томительную паузу, во время которой Хлебовводов чуть не умер. — ...товарищу Фарфуркису.

Хлебовводов, очутившись на дне зловонной пропасти, безумными глазами следил за полетом стервятника, совершающего круг за кругом в недоступной теперь ведомственной синеве. Фарфуркис же не торопился начинать. Он проделал еще пару кругов, обдавая Хлебовводова пометом, затем уселся на гребне, почистил перышки, охорашиваясь и кокетливо поглядывая на Лавра Федотовича, и наконец приступил:

— Вы утверждаете, товарищ Константинов, что вы есть пришелец с иной планеты. Какими документами вы могли бы подтвердить это ваше заявление?

— Я мог бы показать вам свой бортовой журнал, — сказал Константин. — Но, во-первых, он не транспортабелен, а во-вторых, я вообще не хотел бы затрудняться и затруднять вас какими-то доказательствами.

Ведь я пришел сюда, чтобы просить у вас помощи. Всякая планета, входящая в космическую конвенцию, обязана оказывать помощь потерпевшим аварию. Я уже сказал, что мне нужно, и теперь только жду ответа. Может быть, вы неспособны оказать мне эту помощь, тогда лучше сказать мне об этом прямо... Тут нет ничего постыдного...

— Минуточку, — прервал его Фарфуркис. — Вопрос о компетентности настоящей комиссии в смысле оказания помощи представителям иных планет мы пока отложим. Наша задача сейчас — идентифицировать вас, товарищ Константинов, как такого представителя... Минуточку, я еще не кончил. Вы упомянули бортовой журнал и заявили, что он, к сожалению, не транспортабелен. Но, может быть, Тройка получит возможность осмотреть оный журнал непосредственно на борту вашего корабля?

— Нет, это тоже невозможно, — вздохнул Константин. Он внимательно изучал Фарфуркиса.

— Ну что ж, это ваше право, — сказал Фарфуркис. — Но в таком случае вы, быть может, представите нам какую-нибудь иную документацию, могущую служить удостоверением вашего происхождения?

— Я вижу, — сказал Константин с некоторым удивлением, — что вы действительно хотите убедиться в том, что я пришелец. Правда, мотивы ваши мне не совсем понятны... Но не будем об этом. Что касается доказательств, то неужели мой внешний вид не наводит вас на правильные умозаключения?

Фарфуркис с сожалением покачал головой.

— Увы, — сказал он, — все обстоит не так просто. Наука не дает нам вполне четкого представления о том, что есть человек. Это естественно. Если бы, например, наука определила людей как существ с двумя глазами и двумя руками, значительные слои населения, обладающие лишь одной рукой или вовсе безрукие, оказались бы в ложном положении. С другой стороны, медицина в наше время творит чудеса. Я сам

видел по телевизору собак с двумя головами и с шестью лапами, и у меня нет никаких оснований...

— Тогда, может быть, вид моего корабля... Вид, достаточно необычный для вашей земной техники...

Вновь Фарфуркис покачал головой.

— Вы должны понимать, — мягко сказал он, — что в наш атомный век члена ответственного органа, имеющего специальный допуск, трудно удивить каким бы то ни было техническим сооружением.

— Я могу читать мысли, — сообщил Константин. Он явно заинтересовался.

— Телепатия антинаучна, — мягко сказал Фарфуркис. — Мы в нее не верим.

— Вот как? — удивился Константин. — Странно... Но послушайте, что я сейчас скажу. Вот вы, например, намерены рассказать мне о казусе с «Наутилусом», а вот гражданин Хлебовводов...

— Навет! — хрипло закричал Хлебовводов, и Константин замолк.

— Поймите нас правильно, — проникновенно сказал Фарфуркис, прижимая руки к полной груди. — Мы ведь не утверждаем, что телепатия не существует. Мы утверждаем лишь, что телепатия антинаучна и что мы в нее не верим. Вы упомянули про казус с подводной лодкой «Наутилус», но ведь хорошо известно, что это лишь буржуазная утка, сфабрикованная для того, чтобы отвлечь внимание народов от насущных проблем сегодняшнего дня. Так что ваши телепатические способности, истинные или вами воображаемые, являются лишь фактом вашей личной биографии, каковая и есть в настоящий момент объект нашего расследования. Вы чувствуете замкнутый круг?

— Чувствую, — согласился Константин. — Но если бы я, скажем, сейчас при вас немного полетал?

— Это было бы, конечно, интересно. Но мы, к сожалению, сейчас на работе и не можем предаваться зрелищам, даже самым захватывающим.

Константин вопросительно посмотрел на нас. Мне

казалось, что положение безнадежно, мне было вообще не до шуток: Константин этого не понимал, но Большая Круглая Печать уже висела над ним, как дамоклов меч. А Эдик все возился со своей игрушкой, и я не знал, что делать. Можно было только тянуть время, и я сказал:

— Давайте, Костя.

Костя дал. Сначала он давал несколько вяло, осторожничал, боялся что-нибудь поломать, но постепенно увлекся и продемонстрировал ряд чрезвычайно эффектных экзерсисов с пространственно-временным континуумом с различными трансформациями живого коллоида и с критическим состоянием органов отражения. Когда он остановился, у меня кружилась голова, пульс неистовствовал, трещало в ушах, и я еле расслышал усталый голос Пришельца:

— Время уходит, мне некогда. Говорите, что вы решили.

И опять никто ему не ответил. Лавр Федотович задумчиво вертел длинными пальцами коробочку диктофона. Умное лицо его было спокойно и немного печально. Хлебовводов ни на что не обращал внимания — или делал вид, что не обращает. Он нацарапал еще одну записку, перебросил ее Зубо, а тот внимательно прочитал ее и бесшумно пробежал пальцами по клавиатуре информационной машины. Фарфуркис листал справочник, уставясь в страницы невидящими глазами. А Выбегалло мучился. Он кусал губы, морщился, даже тихонько покряхтывал. Из машины с сухим щелчком вылетела белая карточка. Зубо подхватил ее и передал Хлебовводову.

Я посмотрел на Эдика. Эдик держал реморализатор на раскрытой ладони, вглядываясь одним глазом в зеркальное окошечко и осторожно подкручивая крошечный верньер. Я затаил дыхание и стал смотреть и слушать.

— Скачок в тысячу лет, — тихо сказал Выбегалло.

— Скачок назад, — проговорил Фарфуркис сквозь зубы. Он все листал справочник.

— Я не знаю, как мы теперь будем работать, — сказал Выбегалло. — Мы заглянули в конец задачника, где все ответы.

— Но вы же еще не видели ответов, — возразил Фарфуркис. — Хотите видеть?

— Какая разница, — сказал Выбегалло, — раз мы знаем, что ответы есть. Скучно искать, когда совершенно точно знаешь, что кто-то уже нашел.

Пришелец ждал, переплетя руки. Ему было неудобно в кресле с низкой спинкой, и он сидел, напряженно выпрямившись. Его круглые немигающие глаза неприятно светились красным. Хлебовводов отшвырнул карточку, написал новую записку, и Зубо снова склонился над клавиатурой.

— Я знаю, что мы должны отказаться, — сказал Выбегалло. — И знаю я, что мы двадцать раз проклянем себя за такое решение.

— Это еще не самое плохое, что с нами может случиться, — сказал Фарфуркис. — Хуже, если нас двадцать раз проклянут другие.

— Наши внуки и, может быть, даже дети уже воспринимали бы все, как данное.

— Нам не должно быть безразлично, что именно наши дети будут воспринимать, как данное.

— Моральные критерии гуманизма, — сказал Выбегалло, слабо усмехнувшись.

— У нас нет других критериев, — возразил Фарфуркис.

— К сожалению, — сказал Выбегалло.

— К счастью, коллега, к счастью. Всякий раз, когда человечество пользовалось другими критериями, оно жестоко страдало.

— Я знаю это. Хотел бы я этого не знать. — Выбегалло посмотрел на Лавра Федотовича. — Проблема, которую мы здесь решаем, поставлена некорректно.

Она базируется на смутных понятиях, на неясных формулировках, на интуиции. Как ученый, я не берусь решать эту задачу. Это было бы несерьезно. Остается одно: быть человеком. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я — против территориального контакта... Это ненадолго! — возбужденно выкрикнул он, всем телом подавшись в сторону неподвижного Пришельца. — Вы должны нас правильно понять... Я уверен, что это — ненадолго. Дайте нам время, мы ведь так недавно вышли из хаоса, мы еще по пояс в хаосе... — Он замолчал и уронил голову на руки.

Лавр Федотович посмотрел на Фарфуркиса.

— Я могу лишь повторить то, что говорил раньше, — негромко сказал Фарфуркис. — Меня никто ни в чем не переубедил. Я против всякого контакта на исторически длительные сроки... Я абсолютно уверен, — вежливо добавил он, — что высокая договаривающаяся сторона восприняла бы всякое иное наше решение как свидетельство самонадеянности и социальной незрелости. — Он коротко поклонился в сторону Пришельца.

— Вы? — вопросительно произнес Лавр Федотович.

— Категорически против всякого контакта, — отозвался Хлебовводов, продолжая писать. — Категорически и безусловно. — Он перебросил Зубо очередную записку. — Обоснований не привожу, но прошу оставить за мной право сказать еще несколько слов по этому поводу через десять минут.

Лавр Федотович осторожно положил диктофон и медленно поднялся. Пришелец тоже поднялся. Они стояли друг против друга, разделенные огромным столом, заваленным справочниками, футлярами микрокниг, катушками видеомагнитной записи.

— Мне нелегко сейчас говорить, — начал Лавр Федотович. — Нелегко уже потому, что обстоятельства требуют, вероятно, высокой патетики и слов не только точных, но и торжественных. Однако здесь, у нас, на

Земле, все патетическое в силу обстоятельств претерпело за последний век решительную инфляцию. Поэтому я постараюсь быть просто точным. Вы предложили нам дружбу и сотрудничество во всех аспектах цивилизации. Это предложение беспрецедентно в человеческой истории, как беспрецедентен и сам факт появления инопланетного существа на нашей планете и как беспрецедентен наш ответ на ваше предложение. Мы отвечаем вам отказом по всем пунктам предложенного вами договора, мы отказываемся выдвинуть какой бы то ни было контрдоговор, мы категорически настаиваем на полном прекращении каких бы то ни было контактов между нашими цивилизациями и между их отдельными представителями. С другой стороны, нам не хотелось бы, чтобы такой категорический, недружелюбный по форме отказ углубил бы пропасть между нашими культурами, пропасть и без того едва преодолимую. Мы имеем заявить, что идея контакта между различными цивилизациями в космосе признается нами в принципе полезной и многообещающей. Мы имеем подчеркнуть, что идея контакта с древнейших времен входила в сокровищницу самых лелеемых, самых гордых замыслов нашего человечества. Мы имеем уверить вас, что наш отказ ни в коем случае не должен рассматриваться вами, как движение враждебное, основанное на скрытом недружелюбии или связанное с физиологическими и иными инстинктивными предрассудками. Нам хотелось бы, чтобы причины отказа были вам известны, вами поняты и если не одобрены, то по крайней мере приняты к сведению.

Выбегалло и Фарфуркис в неподвижном напряжении, не мигая, глядели на Лавра Федотовича. Хлебовводов получил ответ на последнюю записку, сложил все карточки в аккуратную пачку и тоже стал смотреть на Лавра Федотовича.

— Неравенство между нашими цивилизациями огромно, — продолжал Лавр Федотович. — Я не говорю

о неравенстве биологическом — природа одарила вас гораздо более щедро, чем нас. Не стоит говорить и о неравенстве социальном — вы давно уже прошли ту стадию общественного развития, в которую мы едва лишь вступили. И уж, конечно, я не говорю о неравенстве научно-техническом — по самым скромным подсчетам вы обогнали нас на несколько веков. Я буду говорить о прямом следствии этих трех аспектов неравенства — о гигантском психологическом неравенстве, которое и является главной причиной неудачи наших переговоров. Нас разделяет гигантская революция в массовой психологии, к которой мы только начали готовиться и о которой вы, наверное, давно уже забыли. Психологический разрыв не позволяет нам составить правильное представление о целях вашего прибытия сюда, мы не понимаем, зачем ВАМ нужна дружба и сотрудничество с нами. Ведь мы только-только вышли из состояния беспрерывных войн, из мира кровопролития и насилия, из мира лжи, подлости, корыстолюбия, мы еще не отмылись от грязи этого мира, и когда мы сталкиваемся с явлениями, которые наш разум неспособен вскрыть, когда в нашем распоряжении остается только наш огромный, но не освоенный еще опыт, наша психология побуждает нас строить модель явления по нашему образу и подобию. Грубо говоря, мы не доверяем вам, как не доверяем все еще самим себе. Наша массовая психология базируется на эгоизме, утилитаризме и мистике. Установление и расширение контактов с вами означает для нас, прежде всего, угрозу немыслимого усложнения и без того сложного положения на нашей планете. Наш эгоизм, наш антропоцентризм, тысячелетиями воспитанная в нас религиями и наивными философиями уверенность в нашем изначальном превосходстве, в нашей исключительности и избранности — все это грозит породить чудовищный психологический шок, вспышку иррациональной ненависти к вам, истерического страха перед вашими нево-

образимыми возможностями, ощущение огромного унижения и внезапного падения с трона царя природы в грязь. Наш утилитаризм породит у огромной части населения стремление бездумно воспользоваться материальными благами прогресса, доставшегося без усилий, даром, грозит необратимо повернуть души к тунеядству и потребительству, а, видит Бог, мы уже сейчас отчаянно боремся с этим, как со следствием нашего собственного научно-технического прогресса. Что же касается нашего закоренелого мистицизма, нашей застарелой надежды на добрых богов, добрых царей и добрых героев, надежды на вмешательство авторитетной личности, которая придет и снимет с нас все заботы и всю ответственность, что касается этой оборотной стороны нашего эгоизма, то вы, вероятно, даже представить себе не можете, каков будет в этом смысле результат вашего постоянного присутствия у нас на планете. Я надеюсь, вы теперь и сами видите, что расширение контакта грозит свести к нулю то немногое, что нам с огромным трудом удалось пока сделать в области подготовки к революции в психологии. И вы должны понимать, что не в вас, не в ваших достоинствах и ваших недостатках лежит причина нашего отказа от контакта — она лежит только в нас, в нашей неподготовленности. Мы отчетливо понимаем это и, категорически отказываясь от расширения контакта с вами сегодня, мы отнюдь не собираемся увековечивать такое положение. Поэтому мы со своей стороны предлагаем...

Лавр Федотович возвысил голос, и все встали.

— Мы предлагаем ровно через пятьдесят лет после вашего отлета повторить встречу полномочных представителей обеих цивилизаций на северном полюсе планеты Плутон. Мы надеемся, что к этому времени мы окажемся более подготовленными к обдуманному и благоприятному сотрудничеству наших цивилизаций.

Лавр Федотович кончил и сел, и все мы сели. Остались стоять только Хлебовводов и Пришелец.

— Присоединяясь целиком и полностью к содержанию и форме изложенного здесь председателем, — резко и сухо заговорил Хлебовводов, — я считаю своим долгом, однако, не оставлять никаких сомнений у высокой договаривающейся стороны в нашей решимости всеми средствами не допускать контакта до условленного времени. Полностью признавая огромное техническое, а следовательно, и военное превосходство высокой договаривающейся стороны, я тем не менее считаю своим долгом совершенно недвусмысленно заявить, что любая попытка насильственного навязывания контакта, в какой бы форме она ни предпринималась, будет рассматриваться с момента вашего отлета как акт агрессии и будет встречена всей мощью земного оружия. Всякий корабль, появившийся в сфере достижения наших боевых средств, будет уничтожаться без предупреждения...

— Хватит? — шепотом спросил меня Эдик.

Все застыли, как на фотографии.

— Не знаю, — сказал я. — Жалко. Век бы слушал.

— Да, неплохо получилось, — сказал Эдик. — Но кончать надо. Такой расход мозговой энергии...

Он выключил реморализатор, и Фарфуркис сейчас же заныл:

— Ну, товарищи!.. Ну невозможно же работать, ну куда это мы заехали!..

Выбегалло пожевал губами, мутно огляделся и полез в бороду чесаться.

— Точно! — сказал Хлебовводов и сел. — Надо кончать. Я тут в меньшинстве, но я что? Я — пожалуйста! Не хотите его в милицию, — не надо. А только рационализировать нам этого фокусника как необъясненное явление, ей-Богу, ни к чему. Подумаешь, отрастил себе две руки...

— Не берет! — горько произнес у меня над ухом Эдик. — Плохо дело, Саша... Нет у них морали, у этих канализаторов...

— Грррм, — сказал Лавр Федотович и разразился небольшой речью, из которой следовало, что общественности не нужны необъясненные явления, которые могли бы представить, но по тем или иным причинам не представляют документацию, удостоверяющую их право на необъясненность. С другой стороны, народ давно уже требует беспощадного выкорчевывания бюрократизма и бумажной волокиты во всех инстанциях. На основании этого тезиса Лавр Федотович выражал общее мнение, что рассмотрение дела номер семьдесят два надлежит перенести на декабрь месяц текущего года с тем, чтобы дать возможность товарищу Константинову К. К. отбыть по месту постоянного жительства и успеть вернуться оттуда с надлежаще оформленными документами. Что же касается оказания товарищу Константинову К. К. материальной помощи, то Тройка имеет право оказывать таковую или ходатайствовать об оказании таковой лишь в тех случаях, когда проситель представляет собою идентифицированное ею, Тройкой, необъясненное явление. А поскольку товарищ Константинов К. К. как таковое явление еще не идентифицирован, то вопрос о предоставлении ему помощи откладывается до декабря, а точнее — до момента идентификации...

Большая Круглая Печать на сцене не появилась, и я облегченно вздохнул. Константин же, который в ситуации так до конца и не разобрался и которого уже давно распирало, демонстративно, очень по-нашему, плюнул и исчез.

— Это выпад! — радостно закричал Хлебовводов. — Видали, как он харкнул? Весь пол заплевал!

— Возмутительно, — согласился Фарфуркис. — Я квалифицирую это как оскорбление.

— Я же говорил — жулик! — сказал Хлебовводов. — Надо связаться с милицией, пускай его посадят на пятнадцать суток, пускай он улицы пометет в четыре руки!..

— Не-ет, товарищ Хлебовводов, — возразил Фарфуркис. — Здесь уже не милицией пахнет, здесь вы недооцениваете, это плевок в лицо общественности и администрации, это дело подсудное!

Лавр Федотович безмолвствовал, но его короткие веснушчатые пальцы возбужденно бегали по столу — то ли он искал какую-то особенную кнопку, то ли телефон. Запахло политической уголовщиной. Выбегалло, которому на Константина было глубоко начхать, не мычал и не телился. Я прокашлялся и попросил внимания. Внимание было мне даровано, хотя и не очень охотно — глаза уже возбужденно сверкали, загривки щетинились, клыки готовы были рвать, а когти — драть.

Стараясь говорить по возможности более веско, я напомнил Тройке, что в ее интересах занимать галактоцентрические, а отнюдь не антропоцентрические позиции. Я указал, что обычаи и способы выражения чувств у инопланетных существ могут и должны сильно отличаться от человеческих. Я обратился к изжеванной аналогии с обычаями различных племен и народов нашей планеты. Я выразил уверенность, что товарища Фарфуркиса не удовлетворило бы потирание носами в качестве приветствия, принятого между некоторыми народами севера, но что товарищ Фарфуркис вряд ли все-таки воспринял бы это потирание как унижение его положения члена Тройки. Что касается товарища Константинова, то обычай сплевывать на землю избыток жидкости определенного химического состава, образующейся в ротовой полости, обычай, означающий у некоторых народов Земли неудовольствие, раздражение или стремление оскорбить собеседника, может и должен у инопланетного существа выражать нечто совершенно иное, в том числе и благодарность за внимание. Так называемый плевок товарища Константинова мог представлять собой и чисто нейтральную акцию, связанную со спецификой физиологического функцио-

нирования его организма... («Чего там — функция! — заорал Хлебовводов. — Заплевал весь пол, как бандит, и смылся!») Наконец, нельзя упускать из виду возможность интерпретировать упомянутое физиологическое отправление товарища Константинова как действие, связанное с его способом молниеносного передвижения в пространстве...

Я разливался соловьем и с облегчением наблюдал, как пальцы Лавра Федотовича двигались все медленнее и медленнее и, наконец, покойно улеглись на бюваре. Хлебовводов продолжал еще угрожающе рявкать, но чуткий Фарфуркис быстро уловил изменение ситуации и перенес острие удара в совершенно неожиданную сторону. Он вдруг обрушился на коменданта, который до сих пор, считая себя в полной безопасности, с простодушным любопытством наблюдал развитие инцидента.

— Я давно уже обратил внимание на то, — загремел Фарфуркис, — что воспитательная работа в Колонии необъясненных явлений поставлена безобразно. Политико-просветительные лекции почти не проводятся. Доска наглядной агитации отражает вчерашний день. Вечерний университет культуры практически не функционирует. Все культурные мероприятия в Колонии сведены к танцулькам, к демонстрациям заграничных фильмов, к пошлым эстрадным представлениям. Лозунговое хозяйство запущено. Колонисты предоставлены самим себе, многие из них морально опустошены, почти никто не разбирается в международном положении, а самые отсталые из колонистов, например, дух некоего Винера, даже не понимают, где они находятся. В результате — аморальные поступки, хулиганство и поток жалоб от населения. Позавчера птеродактиль Кузьма, покинув территорию Колонии и несомненно находясь в нетрезвом виде, летал над клубом рабочей молодежи и скусывал электрические лампочки, окаймляющие транспарант с надписью «Добро пожаловать». Некий Николай Долгоносиков, именующий себя теле-

патом и спиритом, обманным путем проник в женское общежитие педагогического техникума и производил там беседы и действия, которые были квалифицированы администрацией как религиозная пропаганда. И вот сегодня мы сталкиваемся с новым печальным следствием преступно халатного отношения коменданта Колонии товарища Зубо к вопросам воспитания и пропаганды. Чем бы ни было на самом деле сплевывание товарищем Константиновым избытка жидкости из ротовой полости, оно свидетельствует о недостатке понимания товарищем Константиновым, где он находится и как обязан себя вести, а это в свою очередь есть просчет товарища Зубо, который не разъяснил колонистам смысл пословицы народной: «В чужой монастырь со своим уставом не суйся». И я считаю, что мы обязаны поставить на вид товарищу Зубо, строго предупредить и обязать его повысить уровень воспитательной работы во вверенной ему Колонии!

Фарфуркис закруглился, и за коменданта принялся Хлебовводов. Речь его была несвязна, но полна смутных намеков и угроз такого жуткого смысла, что комендант совсем ослабел и открыто глотал пилюли, пока Хлебовводов орал: «Я тебе поплююсь!.. Ты понимаете что или совсем ошалели?..» «Грррм», — сказал, наконец, Лавр Федотович и пошел ставить каменные точки над разными буквами. Комендант получил на вид за недостойное поведение в присутствии Тройки, выразившееся в плевании на пол товарищем Константиновым, а также за утрату административного обоняния. Товарищ Константинов К. К. получил предупреждение в дело за хождение по потолку в обуви. Фарфуркис получил устное замечание за систематическое превышение регламента при выступлениях, а Хлебовводов — за нарушение административной этики, выразившееся в попытке облыжно оболгать товарища Константинова К. К. Выбегалле был объявлен устный выговор за появление в строю в небритом виде.

— Других предложений нет? — осведомился Лавр Федотович. Хлебовводов сейчас же ткнулся к нему в ухо и зашептал. Лавр Федотович выслушал и закончил: — Есть также предложение напомнить некоторым представителям снизу о необходимости более активно участвовать в работе Тройки.

Теперь получили все. Никто не был забыт, и ничто не было забыто. Атмосфера сразу очистилась, все — даже комендант — повеселели. Только Эдик нахмурился, погрузившись в задумчивость.

— Следующий, — произнес Лавр Федотович. — Доложите, товарищ Зубо.

— Дело номер второе, — зачитал комендант. — Фамилия: прочерк. Имя: прочерк. Отчество: прочерк. Кличка: Кузьма. Год и место рождения: не установлено. Вероятно, Конго.

— Он что, немой, что ли? — благодушно осведомился Хлебовводов.

— Говорить не умеет, — ответил комендант. — Только квакает.

— От рождения такой?

— Надо полагать, да.

— Наследственность, стало быть, плохая, — проворчал Хлебовводов. — Оттого он и в бандиты подался. Судимостей много?

— У кого? — спросил ошарашенный комендант. — У меня?

— Да нет, почему — у тебя? У этого... У бандита. Как его там по кличке? Васька?

— Протестую, — нетерпеливо сказал Фарфуркис. — Товарищ Хлебовводов исходит из предвзятого мнения, что клички бывают только у бандитов. Между тем в инструкции в параграфе восьмом главы четвертой части второй предлагается наделять кличкой необъясненное явление, которое идентифицируется как живое существо, не обладающее разумом.

— А! — сказал Хлебовводов разочарованно. — Со-

бака какая-нибудь. А я думал — бандит. Это когда я заведовал кассой взаимопомощи театральных деятелей при ВТО, был у меня кассир...

— Я протестую! — плачущим голосом закричал Фарфуркис. — Это нарушение регламента! Так мы до ночи не кончим!

Хлебовводов поглядел на часы.

— И верно, — сказал он. — Извиняюсь. Валяйте, браток, где ты там остановился?

— Пункт пятый, — прочитал комендант. — Национальность: птеродактиль.

Все содрогнулись, но время поджимало, и никто не сказал ни слова.

— Образование: прочерк, — продолжал читать комендант. — Знание иностранных языков: прочерк. Профессия и место работы в настоящее время: прочерк. Были ли за границей: вероятно, да...

— Ох, это плохо, — пробормотал Хлебовводов. — Плохо это! Ох, бдительность... Птеродактиль, говорите? Это что же — белый он? Черный?

— Он, как бы это сказать, сероватый такой, — объяснил комендант.

— Ага, — сказал Хлебовводов. — И говорить не может, только квакает... Ну ладно, дальше.

— Краткая сущность необъясненности: считается вымершим пятьдесят миллионов лет назад.

— Сколько? — переспросил Фарфуркис.

— Пятьдесят миллионов тут написано, — несмело сказал комендант.

— Несерьезно все это как-то, — пробормотал Фарфуркис и поглядел на часы. — Да читайте же, — простонал он. — Дальше читайте!

— Данные о ближайших родственниках: вероятно, все вымерли. Адрес постоянного местожительства: Китежград, Колония необъясненных явлений.

— Прописан? — строго спросил Хлебовводов.

— Да вроде как бы прописан, — ответил комен-

дант. — Как заявился он, как занесли его в книгу почетных посетителей, так с тех пор и пребывает. Можно сказать, прижился Кузьма. — В голосе коменданта послышались нежные нотки: Кузьке он явно покровительствовал.

— У вас все? — осведомился Лавр Федотович. — Тогда есть предложение вызвать дело.

Других предложений не было, комендант отдернул штору на окне и ласково позвал:

— Кузь-Кузь-Кузь-Кузь... Вон, сидит на трубе, паршивец, — произнес он нежно. — Стесняется... Стеснительный он очень. Ку-у-узь! Кузь-Кузь-Кузь... Летит, жулик, — сообщил он, отступая от окна.

Послышался кожистый шорох и свист, огромная тень на секунду закрыла небо, и Кузька, трепеща распахнутой перепонкой, плавно опустился на демонстрационный стол. Сложив крылья, он задрал голову, разинул длинную зубастую пасть и тихонько квакнул.

— Это он здоровается, — пояснил комендант. — Ве-еж-ли-вый, сукин кот, все как есть понимает.

Кузька оглядел Тройку, встретился с мертвенным взглядом Лавра Федотовича и вдруг застеснялся ужасно, закутался в крылья, спрятал пасть на брюхе и стал застенчиво выглядывать из кожистых складок одним глазом — огромным, зеленым, анахроничным, похожим на полураскрытую ирисовую диафрагму. Прелесть был Кузька. Впрочем, на свежего человека он производил устрашающее впечатление. Хлебовводов на всякий случай что-то уронил и полез под стол, откуда пробормотал: «Я думал, собака какая-нибудь квакающая...»

— Кусается? — спросил Фарфуркис опасливо.

— Как можно! — сказал комендант. — Смирное животное, все его гоняют, кому не лень... Конечно, если рассердится... Только он никогда не сердится.

Лавр Федотович принялся рассматривать птеродактиля в бинокль и вогнал его этим в окончательное смущение. Кузьма слабо квакнул и совсем спрятал голову в крыльях.

— Грррм! — удовлетворенно произнес Лавр Федотович и отложил бинокль.

Обстановка складывалась благополучно.

— Я думал, это лошадь какая-нибудь, — бормотал Хлебовводов, ползая под столом.

— Разрешите мне, Лавр Федотович, — попросил Фарфуркис. — Я вижу в этом деле определенные трудности. Если бы мы занимались рассмотрением необычных явлений, я без колебаний первым бы поднял руку за немедленную рационализацию. Действительно, крокодил с крыльями — явление довольно необычное в наших климатических условиях. Однако наша задача — рассматривать необъясненные явления, и тут я испытываю недоумение. Присутствует ли в деле номер два элемент необъясненности? Если не присутствует, то почему мы должны это дело рассматривать? Если, напротив, присутствует, то в чем он, собственно, состоит? Может быть, товарищ научный консультант имеет сказать нам что-нибудь по этому поводу?

Товарищ научный консультант имел что сказать. На смешанном франко-русском жаргоне он поведал Тройке, что прическа Мари Брийон неизменно приводила в восхищение всех собравшихся на рауты у барона де Водрейля, какового факта он, научный консультант, не может не признать; что необъясненность... эта... данного ля птеродактиль Кузьма лежит, значит, в одной плоскости с его необычностью, о чем он, научный консультант, считает своим горьким, но почетным долгом напомнить товарищу Фарфуркису; что Платон был и остается его, научного консультанта, другом, но науке, в лице его, научного консультанта, истина дороже; что крылатость крокодилов или, точнее, наличие у некоторых крокодилов двух и более крыльев до сих пор наукой не объяснены, а потому он, научный консультант, попросил бы вашего садовника показать ему те чудесные туберозы, о которых вы говорили в прошлую пятницу; что, наконец, он, научный консультант,

не видит особых причин откладывать рационализацию данного дела, но, с другой стороны, хотел бы оставить за собой право решительно возражать против таковой.

Пока Выбегалло трепался, в поте лица отрабатывая свой многосотенный оклад денежного содержания, я торопливо составлял план предстоящей кампании. Кузька мне очень понравился и мне было ясно одно: если мы сейчас не вмешаемся, Кузьке будет плохо.

— Грррм, — произнес Лавр Федотович. — Какие будут вопросы к докладчику?

— У меня вопросов нет, — заявил Хлебовводов, который убедился, что Кузьма не кусается, и сразу обнаглел. — Но я так полагаю, что это обыкновенный крокодил с крыльями и больше ничего. И напрасно товарищ научный консультант наводит тут нам тень на плетень... И потом я замечаю, что комендант развел у себя в Колонии любимчиков и прикармливает их там за государственный счет. Я не хочу, конечно, сказать, что у него там семейственность или он, скажем, взятки от этого крокодила получает, но факт, по-моему, налицо: крокодил с крыльями — самая простая штука, а возятся с ним, как с писаной торбой. Гнать его нужно из Колонии, пусть работать идет...

— Как же работать? — сказал комендант, очень болевший за Кузьму.

— А так! У нас все работают! Вон он, здоровенный жлоб какой сидит. Ему бы бревна на лесопилке подносить... или пусть камень грузит. Может, скажете, у него жилы слабые? Я этих крокодилов знаю, я их всяких повидал... и крылатых, и всяких...

— Как же так? — страдал комендант. — Он же все-таки не человек, он же все-таки животное. У него диета...

— Ничего, у нас животные тоже работают. Лошади, например. Пускай в лошади идет! Диета у него... У меня вот тоже диета, а я из-за него без обеда сижу... — Однако Хлебовводов чувствовал, что заврался. Фар-

фуркис смотрел на него насмешливо, да и поза Лавра Федотовича наводила на размышления. Учтя все эти обстоятельства, Хлебовводов сделал вдруг резкий поворот: — Постойте, постойте! — заорал он. — Это какой же у нас Кузьма? Это не тот ли Кузьма, который клубные лампочки жрал?.. Ну да, тот самый и есть! Это что же — и меры, значит, к нему приняты не были? Ты, товарищ Зубо, не выкручивайтесь, ты мне прямо скажите: меры были приняты?

— Были, — сказал комендант с горячностью.

— Какие именно?

— Слабительного ему дали, — сказал комендант. Видно было, что за Кузьму он будет стоять насмерть.

Хлебовводов ударил кулаком по столу, и Кузьма со страху напустил лужу. Тут уж я разозлился и выкрикнул, обращаясь прямо к Лавру Федотовичу, что это издевательство над ценным научным экспонатом. Фарфуркис тоже заявил, что он протестует, что товарищ Хлебовводов опять пытается навязать Тройке несвойственные ей функции. Лавр Федотович облизал бледный указательный палец и резким движением перебросил у себя в бюваре несколько листков, что служило у него признаком сильнейшего раздражения. Надвигалась буря.

— Эдик! — прошептал я умоляюще.

Эдик, внимательно следивший за развитием событий, взял реморализатор навскидку и прицелился в Лавра Федотовича. Лавр Федотович поднялся и забрал себе слово.

Он рассказал о задачах вверенной ему Тройки, вытекающих из возросшего ее авторитета и возросшей ее ответственности. Он предложил присутствующим развернуть еще более непримиримую борьбу за повышение трудовой дисциплины, против бюрократизма, за высокий моральный уровень всех и каждого, за здоровую критику и здоровую самокритику, против обезлички, за укрепление противопожарной безопасности, про-

тив зазнайства, за личную ответственность каждого, за образцовое содержание отчетности и против недооценки собственных сил. Народ нам скажет спасибо, если эти задачи мы станем выполнять еще более активно, чем раньше. Народ нам не простит, если эти задачи мы не станем выполнять еще более активно, чем раньше. Какие будут конкретные предложения по организации работы Тройки в связи с изменившимися условиями?

Я не без злорадства наблюдал, как было туго с конкретными предложениями. Хлебовводов по привычке размахнулся и предложил взять на себя повышенные обязательства, например, чтобы в связи с возросшим авторитетом Тройки комендант товарищ Зубо обязался бы увеличить свой рабочий день до четырнадцати часов, а научный консультант товарищ Выбегалло отказался бы от обеденного перерыва. Однако это партизанское решение не встретило энтузиазма. Напротив, оно встретило яростный отпор названных лиц. Отгремела короткая перепалка, в ходе которой выяснилось, между прочим, что час обеденного перерыва давно наступил.

— Есть такое мнение, — заключил Лавр Федотович, — что пора перейти к отдыху и обеду. Заседание Тройки прерывается до восемнадцати ноль-ноль... — Затем он в высшей степени благодушно обратился к коменданту. — А крокодила вашего, товарищ Зубо, мы возьмем и отдадим в зоопарк. Как вы полагаете?

— Эх! — сказал героический комендант. — Лавр Федотович! Товарищ Вунюков! Христом Богом... спасителем нашим... нет же у нас в городе зоологического сада!

— Будет! — пообещал Лавр Федотович и тут же демократично пошутил: — Простой сад у вас есть, детский тоже есть, а теперь и зоологический будет. Тройка троицу любит.

Взрыв предобеденного хохота побудил Кузьку еще раз сделать неприличность.

Лавр Федотович погрузил в портфель свои председательские принадлежности, поднялся из-за стола и степенно двинулся к выходу. Хлебовводов и Выбегалло, сбив с ног зазевавшегося Фарфуркиса, кинулись, отпихивая друг друга, открывать ему дверь.

— Бифштекс — это мясо, — благосклонно сообщил им Лавр Федотович.

— С кровью! — преданно закричал Хлебовводов.

— Ну зачем же с кровью? — донесся голос Лавра Федотовича уже из приемной.

Мы с Эдиком распахнули все окна. С лестницы доносилось: «Нет уж, позвольте, Лавр Федотович... Бифштекс без крови, Лавр Федотович, это хуже чем выпить и не закусить...» «Наука полагает, что... эта... с лучком, значит...» «Народ любит хорошее мясо... например, бифштексы...»

— В гроб они меня вгонят, — озабоченно сказал комендант. — Погибель они моя, мор, глад и семь казней египетских...

ДЕЛО № 15 И ВЫЕЗДНАЯ СЕССИЯ

Вечернее заседание не состоялось. Официально нам было объявлено, что Лавр Федотович, а также товарищи Хлебовводов и Выбегалло, отравились за обедом грибами, и врач рекомендовал им всем до утра полежать. Однако дотошный комендант не поверил официальной версии. Он при нас позвонил в гостиничный ресторан и переговорил со своим кумом, метрдотелем. И что же? Выяснилось: за обедом Лавр Федотович и профессор Выбегалло, выступая против товарища Хлебовводова в практической дискуссии относительно сравнительных преимуществ прожаренного бифштекса перед бифштексом с кровью, стремясь выяснить на деле, какое из этих состояний бифштекса наиболее лю-

бимо общественностью и, следовательно, перспективно, скушали под коньячок и под пильзенское бархатное по четыре экспериментальные порции из фонда шефповара. Теперь им совсем плохо, лежат пластом и до утра во всяком случае на людях появиться не смогут.

Комендант ликовал, как школьник, у которого внезапно и тяжело заболел нелюбимый учитель.

Мы попрощались с ним, купили по стаканчику мороженого и возвратились к себе в гостиницу. Весь вечер мы просидели в номере, обсуждая свое положение. Эдик признался, что Кристобаль Хозевич был прав: Тройка оказалась более крепким орешком, нежели он предполагал. Разумная, рациональная сторона ее психики оказалась сверхъестественно консервативной и сверхупругой. Правда, она поддавалась воздействию мощного реморализующего поля, но немедленно возвращалась в исходное состояние, как только поле выключалось. Я было предложил Эдику не выключать поле вовсе, но Эдик это предложение отверг. Запасы разумного, доброго и вечного были у Тройки весьма ограничены, и сколько-нибудь длительное воздействие реморализатора грозило истощить их до последней капли. Наше дело — научить их думать, сказал Эдик, а не помогать им думать; но они не учатся. Эти бывшие канализаторы разучились учиться. Впрочем, не все еще потеряно. Осталась еще эмоциональная сторона психики, область чувств. Раз не удается разбудить в них разум, надо попытаться разбудить их совесть. И именно этим он, Эдик, и намерен заняться на следующем же заседании.

Мы обсуждали этот вопрос до тех пор, пока к нам не ввалился без стука возбужденный Клоп Говорун. Оказывается: он подал заявление, чтобы Тройка приняла его без всякой очереди и обсудила одно его предложение. Только что он получил через коменданта извещение и теперь вот заглянул узнать, будем ли мы присутствовать на завтрашнем утреннем заседании, кото-

рое обещает стать историческим. Завтра мы все поймем. Завтра мы узнаем, что он такое. Когда благодарное человечество станет носить его на руках, он нас не забудет. Он кричал, размахивал лапками, бегал по стенам и мешал Эдику сосредоточиться. Мне пришлось взять его за шиворот и вывести в коридор. Он не обиделся, он был выше этого. Завтра все разъяснится, пообещал он, спросил номер аппартаментов Хлебовводова и удалился. Я лег спать, а Эдик, расстелив на столе лист бумаги, еще долго сидел над разобранным ремoрализатором.

Когда Говоруна вызвали, он появился в комнате заседаний не сразу. Было слышно, как он препирается в приемной с комендантом, требуя какого-то церемониала, какого-то повышенного пиетета, а также почетного караула. Эдик начал волноваться, и мне пришлось выйти в приемную и сказать Клопу, чтобы он перестал ломаться, а то будет плохо.

— Но я требую, чтобы он сделал три шага мне навстречу! — кипятился Говорун. — Пусть нет караула, но какие-то элементарные правила должны же выполняться! Я же не требую, чтобы он встречал меня у дверей... Пусть сделает три шага навстречу и обнажит голову!

— О ком ты говоришь? — спросил я, опешив.

— Как это о ком? Об этом, вашем... кто там у вас главный? Вунюков?

— Балда! — прошипел я. — Ты хочешь, чтобы тебя выслушали? Иди немедленно! В твоем распоряжении тридцать секунд!

И Говорун сдался. Бормоча что-то насчет нарушения всех и всяческих правил, он вошел в комнату заседаний и нахально, ни с кем не поздоровавшись, развалился на демонстрационном столе. Лавр Федотович с мутными и пожелтевшими, после вчерашнего, глазами тотчас же взял бинокль и стал Клопа рассматривать. Хлебовводов, страдая от тухлой отрыжки, проныл:

— Ну чего нам с ним говорить? Ведь все уже говорено... Он же нам только голову морочит...

— Минуточку, — сказал Фарфуркис, бодрый и розовый, как всегда. — Гражданин Говорун, — обратился он к Клопу. — Тройка сочла возможным принять вас вне процедуры и выслушать ваше, как вы пишете, чрезвычайно важное заявление. Тройка предлагает вам быть по возможности кратким и не отнимать у нее драгоценное рабочее время. Что вы имеете нам заявить? Мы вас слушаем.

Несколько секунд Говорун выдерживал ораторскую паузу. Затем он с шумом подобрал под себя ноги, принял горделивую позу и, надув щеки, заговорил:

— История человеческого племени, — начал он, — хранит на своих страницах немало позорных свидетельств варварства и недомыслия. Грубый невежественный солдат заколол Архимеда. Вшивые попы сожгли Джордано Бруно. Оголтелые фанатики травили Чарлза Дарвина, Галилео Галилея. История клопов также сохранила упоминания о жертвах невежества и обскурантизма. Всем памятны неслыханные мучения великого клопа-энциклопедиста Сапукла, указавшего нашим предкам, травяным и древесным клопам, путь истинного прогресса и процветания. В забвении и нищете окончил свои дни Император, создатель теории группы крови; Рексофоб, решивший проблему плодовитости; Пульп, открывший анабиоз. Варварство и невежество обоих наших племен не могло не наложить и действительно наложило свой роковой отпечаток на взаимоотношения между ними. Втуне погибли идеи великого клопа-утописта Платуна, проповедовавшего идею симбиоза клопа и человека и видевшего будущность клопиного племени не на исконном пути паразитизма, а на светлых дорогах дружбы и взаимной помощи. Мы знаем случаи, когда человек предлагал клопам мир, защиту и покровительство, выступая под лозунгом: «Мы одной крови, вы и я», но жадные, вечно голодные клопиные массы игнорировали этот призыв, бессмысленно

твердя: «Пили, пьем и будем пить». — Говорун залпом осушил стакан воды, облизнулся и продолжал, надсаживаясь, как на митинге: — Сейчас мы впервые в истории наших племен стоим перед лицом ситуации, когда клоп предлагает человечеству мир, защиту и покровительство, требуя взамен только одного: признания. Впервые клоп нашел общий язык с человеком. Впервые клоп общается с человеком не в постели, а за столом переговоров. Впервые клоп взыскует не материальных благ, а духовного общения. Так неужели же на распутье истории, перед поворотом, который, быть может, вознесет оба племени на недосягаемую высоту, мы будем топтаться в нерешительности, вновь идти на поводу у невежества и взаимоотчужденности, отвергать очевидное и отказываться признать свершившееся чудо? Я, Клоп Говорун, единственный говорящий клоп во Вселенной, единственное звено понимания между нашими племенами, говорю вам от имени миллионов и миллионов: опомнитесь! Отбросьте предрассудки, растопчите косность, соберите в себе все доброе и разумное и открытыми и ясными глазами взгляните в глаза великой истине: Клоп Говорун есть личность исключительная, явление необъясненное и, быть может, даже необъяснимое!

Да, тщеславие этого насекомого способно было поразить самое заскорузлое воображение. Я чувствовал, что добром это не кончится, и толкнул Эдика локтем, чтобы он был готов. Оставалась, правда, надежда на то, что состояние желудочной прострации, в котором пребывала большая и лучшая часть Тройки, помешает взрыву страстей. Благоприятным фактором было также отсутствие обожравшегося до постельного режима Выбегаллы. Лавру Федотовичу было нехорошо, он был бледен и обильно потел, Фарфуркис не знал, на что решиться, и с беспокойством на него поглядывал, и я уже подумал, что все обошлось, как вдруг Хлебовводов произнес:

— «Пили, пьем и будем пить»... Это же он про кого? Это же он про нас, поганец! Кровь нашу! Кровушку! А? — Он дико огляделся. — Да я же его сейчас к ногтю!.. Ночью от них спасу нет, а теперь и днем! Мучители! — И он принялся яростно чесаться.

Говорун несколько испугался, однако продолжал держаться с достоинством. Впрочем, краем глаза он осторожно высматривал себе на всякий случай подходящую щель. По комнате распространился крепчайший запах дорогого коньяка.

— Кровопийцы! — прохрипел Хлебовводов, вскочил и ринулся вперед. Сердце у меня замерло. Эдик схватил меня за руку — тоже испугался. Говорун прямо-таки присел от ужаса. Но Хлебовводов, держась за живот, промчался мимо демонстрационного стола, распахнул дверь и исчез. Было слышно, как он грохочет каблуками по лестнице. Говорун вытер со лба холодный пот и обессиленно опустил усы.

— Гррры, — как-то жалобно проговорил Лавр Федотович. — Кто еще просит слова?

— Позвольте мне, — сказал Фарфуркис, и я понял, что машина заработала. — Заявление гражданина Говоруна произвело на меня совершенно особенное впечатление. Я искренне и категорически возмущен. И дело здесь не только в том, что гражданин Говорун искаженно трактует историю человечества как историю страданий отдельных выдающихся личностей. Я готов также оставить на совести оратора его абсолютно несамокритические высказывания о собственной особе. Но его предложение, его идея о союзе... Даже сама мысль о таком союзе звучит, на мой взгляд, оскорбительно и кощунственно. За кого вы нас принимаете, гражданин Говорун? Или, может быть, ваше оскорбление преднамеренно? Лично я склонен квалифицировать его, как преднамеренное! И более того, я сейчас просмотрел материалы предыдущего заседания по делу гражданина Говоруна и с горечью убедился, что там отсутствует

совершенно, на мой взгляд, необходимое частное определение по этому делу. Это, товарищи, наша ошибка, это, товарищи, наш просчет, который нам надлежит исправить с наивозможнейшей быстротой. Что я имею в виду? Я имею в виду тот простой и очевидный факт, что в лице гражданина Говоруна мы имеем дело с типичным говорящим паразитом, то есть с праздношатающимся тунеядцем без определенных занятий, добывающим средства к жизни предосудительными путями, каковые вполне можно квалифицировать как преступные...

В эту минуту на пороге вновь появился измученный Хлебовводов. Проходя мимо Говоруна, он замахнулся на него кулаком, пробормотал: «У-у, собака бесхвостая, шестиногая!..» Говорун только втянул голову в плечи. Он понял, наконец, что его дело плохо. «Саша, — шептал мне Эдик в панике. — Саша, придумай что-нибудь... У меня здесь закоротило...» Я лихорадочно искал выход, а Фарфуркис тем временем продолжал:

— Оскорбление человечества, оскорбление ответственного органа, типичное тунеядство, место которому за решеткой, — не слишком ли это много, товарищи? Не проявляем ли мы здесь мягкотелость, беззубость, либерализм буржуазный и гуманизм абстрактный? Я еще не знаю, что думают по этому поводу мои уважаемые коллеги, и я не знаю, какое решение будет принято по этому делу, однако, как человек по натуре не злой, хотя и принципиальный, я позволю себе обратиться к вам, гражданин Говорун, со словами предостережения. Тот факт, что вы, гражданин Говорун, научились говорить, вернее, болтать по-русски, может, конечно, некоторое время служить сдерживающим фактором в нашем к вам отношении. Но берегитесь! Не натягивайте струны слишком туго!

— Задавить его, паразита! — прохрипел Хлебовводов. — Вот я его сейчас спичкой... — Он стал хлопать себя по карманам.

На Говоруне лица не было. На Эдике тоже. Он судорожно копался в реморализаторе. А я все никак не мог найти выхода из возникшего тупика.

— Нет-нет, товарищ Хлебовводов, — брезгливо морщась, проговорил Фарфуркис. — Я против незаконных действий. Что это за линчевание? Мы с вами не в Техасе. Необходимо все оформить по закону. Прежде всего, если не возражает Лавр Федотович, надлежит рационализировать гражданина Говоруна как явление необъясненное и, следовательно, находящееся в нашей компетенции...

При этих словах дурак Говорун просиял. О, тщеславие!..

— Далее, — продолжал Фарфуркис, — нам надлежит квалифицировать рационализированное необъясненное явление как вредное и, следовательно, в процессе утилизации подлежащее списанию. Дальнейшая процедура предельно проста. Мы составим акт таким примерно образом: акт о списании клопа говорящего, именуемого ниже Говоруном...

— Правильно! — прохрипел Хлебовводов. — Печатью его!

— Это произвол! — слабо пискнул Говорун.

— Позвольте! — вскинулся Фарфуркис. — Что значит — произвол? Мы списываем вас согласно параграфу семьдесят четвертому приложения о списании остатков, где совершенно отчетливо говорится...

— Все равно произвол! — кричал Клоп. — Палачи! Жандармы!..

И тут меня, наконец, осенило.

— Позвольте, — сказал я. — Лавр Федотович! Вмешайтесь, я прошу вас! Это же разбазаривание кадров!

— Грррм, — еле слышно произнес Лавр Федотович. Его так мутило, что ему было все равно.

— Вы слышите? — сказал я Фарфуркису. — И Лавр Федотович совершенно прав! Надо меньше придавать значение форме и пристальнее вглядываться в

содержание. Наши оскорбленные чувства не имеют ничего общего с интересами народного хозяйства. Что за административная сентиментальность? Разве у нас здесь пансион для благородных девиц? Или курсы повышения квалификации?.. Да, гражданин Говорун позволяет себе дерзость, позволяет себе сомнительные параллели. Да, гражданин Говорун еще очень далек от совершенства. Но разве это означает, что мы должны списать его за ненадобностью? Да вы что, товарищ Фарфуркис? Или вы, быть может, способны сейчас вытащить из кармана второго говорящего клопа? Может, среди ваших знакомых есть еще говорящие клопы? Откуда это барство, это чистоплюйство? «Мне не нравится говорящий клоп, давайте спишем говорящего клопа...» А вы, товарищ Хлебовводов? Да, я вижу, вы — сильно пострадавший от клопов человек. Я глубоко сочувствую вашим переживаниям, но я спрашиваю: может быть, вы уже нашли средство борьбы с кровососущими паразитами? С этими пиратами постелей, с этими гангстерами народных снов, с этими вампирами запущенных гостиниц...

— Вот я и говорю, — сказал Хлебовводов. — Задавить его без разговоров... А то акты какие-то...

— Не-е-ет, товарищ Хлебовводов! Не позволим! Не позволим, пользуясь болезнью научного консультанта, вводить здесь и применять методы грубо административные вместо методов административно научных. Не позволим вновь торжествовать волюнтаризму и субъективизму! Неужели вы не понимаете, что присутствующий здесь гражданин Говорун являет собой единственную пока возможность начать воспитательную работу среди этих остервенелых тунеядцев? Было время, когда некий доморощенный клопиный талант повернул клопов-вегетарианцев к их нынешнему отвратительному модус вивенди. Так неужели же наш, современный, образованный, обогащенный всей мощью теории и практики клоп не способен совершить обрат-

ного поворота? Снабженный тщательно составленными инструкциями, вооруженный новейшими достижениями педагогики, ощущая за собой поддержку всего прогрессивного человечества, разве не станет он архимедовым рычагом, с помощью коего мы окажемся способны повернуть историю клопов вспять, к лесам и травам, к лону природы, к чистому, простому и невинному существованию? Я прошу комиссию принять к сведению все эти соображения и тщательно их обдумать.

Я сел. Эдик, бледный от восторга, показал мне большой палец. Говорун стоял на коленях и, казалось, горячо молился. Что касается Тройки, то, пораженная моим красноречием, она безмолвствовала. Фарфуркис глядел на меня с радостным изумлением. Видно было, что он считает мою идею гениальной и сейчас лихорадочно обдумывает возможные пути захвата командных высот в этом новом, неслыханном мероприятии. Уже виделось ему, как он составляет обширную, детальнейшую инструкцию, уже носились перед его мысленным взором бесчисленные главы, параграфы и приложения, уже в воображении своем он консультировал Говоруна, организовывал курсы русского языка для особо одаренных клопов, назначался главой государственного комитета пропаганды вегетарианства среди кровососущих, расширяющаяся деятельность которого охватит также комаров и мошку, мокреца, слепней, оводов и муху-зубатку...

— Травяные клопы тоже, я вам скажу, не сахар... — проворчал консервативный Хлебовводов. Он уже сдался, но не хотел признаться в этом и цеплялся к частностям.

Я выразительно пожал плечами.

— Товарищ Хлебовводов мыслит узкоместными категориями, — возразил Фарфуркис, сразу вырываясь на полкорпуса вперед.

— Ничего не узкоместными, — возразил Хлебовводов. — Очень даже широкими... этими... как их... Воня-

ют же! Но я понимаю, что это можно подработать в процессе. Я к тому, что можно ли на этого положиться... на стрикулиста... Несерьезный он какой-то... и заслуг за ним никаких не видно...

— Есть предложение, — сказал Эдик. — Может быть, создать подкомиссию для изучения этого вопроса во главе с товарищем Фарфуркисом. Рабочим заместителем товарища Фарфуркиса я бы предложил товарища Привалова, человека незаинтересованного и объективного.

Тут Лавр Федотович вдруг поднялся. Простым глазом было видно, что он здорово сдал после вчерашнего. Обыкновенная человеческая слабость светилась сквозь обычно каменные черты его. Да, гранит дал трещину, бастион несколько покосился, но все-таки, несмотря ни на что, стоял могучий и непреклонный.

— Народ... — произнес бастион, болезненно заводя глаза. — Народ не любит замыкаться в четырех стенах. Народу нужен простор. Народу нужны поля и реки. Народу нужен ветер и солнце...

— И луна! — добавил Хлебовводов, преданно глядя на бастион снизу вверх.

— И луна, — подтвердил Лавр Федотович. — Здоровье народа надо беречь, оно принадлежит народу. Народу нужна работа на открытом воздухе. Народу душно без открытого воздуха...

Мы еще ничего не понимали, даже Хлебовводов еще терялся в догадках, но проницательный Фарфуркис уже собрал бумаги, упаковал записную книжку и что-то шептал коменданту. Комендант кивнул и почтительно деловито осведомился:

— Народ любит ходить пешком или ездить на машине?

— Народ, — провозгласил Лавр Федотович, — предпочитает ездить в открытом автомобиле. Выражая общее мнение, я предлагаю настоящее заседание перенести, а сейчас провести намеченное на вечер выездное заседание по соответствующим делам. Товарищ Зубо,

обеспечьте. — С этими словами Лавр Федотович грузно опустился в кресло.

Все засуетились. Комендант бросился вызывать машину, Хлебовводов отпаивал Лавра Федотовича боржомом, а Фарфуркис забрался в сейф и принялся искать соответствующие дела. Я под шумок схватил Говоруна за ногу и выбросил его вон. Говорун не сопротивлялся: пережитое потрясло его и надолго выбило из колеи.

Тем временем был подан автомобиль. Лавра Федотовича вывели под руки и бережно погрузили на переднее сидение. Хлебовводов, Фарфуркис и комендант, толкаясь и огрызаясь друг на друга, оккупировали заднее сидение. «А машина-то пятиместная, — озабоченно сказал Эдик. — Нас не возьмут». Я ответил, что не вижу в этом ничего плохого, я наболтался сегодня на месяц вперед. Безнадёга все это. Нам с ними вовек не справиться. Спасли дурака Клопа, и ладно, и пошли купаться. Однако Эдик сказал, что он не пойдет купаться. Он невидимо последует за автомобилем и проведет еще один сеанс — под открытым небом. В конце концов это, может быть, даже и лучше...

Тут в автомобиле поднялся крик. Сцепились Фарфуркис с Хлебовводовым. Хлебовводов, которому от запаха бензина стало хуже, требовал немедленного движения вперед. При этом он кричал, что народ любит быструю езду. Фарфуркис же, чувствуя себя единственным в машине деловым человеком, ответственным за все, доказывал, что присутствие постороннего и непроверенного шофера превращает закрытое заседание в открытое и что, кроме того, согласно инструкции, заседания в отсутствие научного консультанта проводиться не могут, а если и проводятся, то в дальнейшем признаются недействительными. «Затруднение? — осведомился Лавр Федотович слегка окрепшим голосом. — Товарищ Фарфуркис, устраните». Ободренный Фарфуркис с азартом принялся устранять. И не успел я

глазом моргнуть, как меня кооптировали в качестве ВРИО научного консультанта, шофер был отпущен, а я сидел на его месте. «Давай, давай, — шептал мне на ухо невидимый Эдик. — Ты мне еще, может быть, поможешь...» Я нервничал и озирался. Вокруг машины собралась толпа ребятишек. Одно дело — сидеть со всей этой компанией в закрытом помещении, и совсем другое — выставляться на всеобщее обозрение.

— Ехать бы... — умирал Хлебовводов. — С ветерком бы...

— Грррм, — сказал Лавр Федотович. — Есть предложение ехать. Другие предложения есть?.. Шофер, поезжайте.

Я завел двигатель и стал осторожно разворачиваться, пробираясь сквозь толпу ребятишек.

Первое время Фарфуркис страшно надоедал мне советами. То он советовал мне остановиться — там, где остановка была запрещена; то он советовал мне не гнать и напоминал мне о ценности жизни Лавра Федотовича; то он требовал, чтобы я ехал быстрее, потому что встречный ветер недостаточно энергично овевает чело Лавра Федотовича; то он требовал, чтобы я не обращал внимания на сигналы светофоров, ибо это подрывает авторитет Тройки... Однако, когда мы миновали белые Тьмускорпионские Черемушки и выехали за город, когда перед нами открылись зеленые луга, а вдали засинело озеро, когда машина запрыгала по щебенке с гребенкой, в машине наступила умиротворенная тишина. Все подставили лица встречному ветерку, все щурились на солнышке, всем было хорошо. Лавр Федотович закурил первую сегодня «Герцоговину-Флор», Хлебовводов тихонько затянул какую-то ямщицкую песню, комендант подремывал, прижимая к груди папки с делами, и только Фарфуркис после короткой борьбы нашел в себе силы справиться с изнеженностью. Развернув карту Тьмускорпиони с окрестностями, он деятельно наметил маршрут, который, впрочем, ока-

зался никуда негодным, потому что Фарфуркис забыл, что у нас автомобиль, а не вертолет. Я предложил ему свой вариант: озеро — болото — холм. На озере мы должны были рассмотреть дело плезиозавра; на болоте — рационализировать и утилизировать имеющее там место гуканье; а на холме нам предстояло обследовать так называемое заколдованное место. Фарфуркис, к моему удивлению, не возражал. Выяснилось, что он полностью доверяет моей водительской интуиции, более того, он вообще всегда был высокого мнения о моих способностях. Ему будет очень приятно работать со мной в клопиной подкомиссии, он давно меня держит на примете, он вообще всегда держит на примете нашу чудесную, талантливую молодежь. Он сердцем всегда с молодежью, но он не закрывает глаза на ее существенные недостатки. Нынешняя молодежь мало борется, мало уделяет внимания борьбе, нет у нее стремления бороться больше, бороться за то, чтобы борьба по-настоящему стала главной, первоочередной задачей всей борьбы, а ведь если она, наша чудесная талантливая молодежь и дальше будет так мало бороться, то в этой борьбе у нее останется мало шансов стать настоящей борющейся молодежью, всегда занятой борьбой за то, чтобы стать настоящим борцом, который борется за то, чтобы борьба...

Плезиозавра мы увидели еще издали — нечто похожее на ручку от зонтика торчало из воды в двух километрах от берега. Я подвел машину к пляжу и остановился. Фарфуркис все еще боролся с грамматикой во имя борьбы за борющуюся молодежь, а Хлебовводов уже стремительно выбросился из машины и распахнул дверцу рядом с Лавром Федотовичем. Однако Лавр Федотович выходить не пожелал. Он благосклонно посмотрел на Хлебовводова и сообщил, что в озере — вода, что заседание выездной сессии Тройки он объявляет открытым и что слово предоставляется товарищу Зубо.

Комиссия расположилась на травке рядом с автомобилем, настроение у всех было какое-то нерабочее, Фарфуркис расстегнулся, а я вовсе снял рубашку, чтобы не терять случая подзагореть. Комендант, поминутно нарушая инструкцию, принялся отбарабанивать анкету плезиозавра по кличке Лизавета, никто его не слушал, Лавр Федотович задумчиво разглядывал озеро перед собою, словно бы прикидывая, нужно ли оно народу, а Хлебовводов вполголоса рассказывал Фарфуркису, как он работал председателем колхоза имени театра Музкомедии и получал по пятнадцать поросят от свиноматки. В двадцати шагах от нас шелестели овсы, на дальних лугах бродили коровы, и уклон в сельскохозяйственную тематику представлялся вполне извинительным.

Когда комендант зачитал краткую сущность плезиозавра, Хлебовводов сделал ценное замечание, что ящур — опасная болезнь скота, и можно только удивляться, что здесь он плавает на свободе. Некоторое время мы с Фарфуркисом лениво втолковывали ему, что ящур — это одно, а ящер — это совсем другое. Хлебовводов, однако, стоял на своем, ссылаясь на журнал «Огонек», где совершенно точно и неоднократно упоминался какой-то ископаемый ящур. «Вы меня не собьете, — говорил он. — Я человек начитанный, хотя и без высшего образования». Фарфуркис, не чувствуя себя достаточно компетентным, отступился, я же продолжал спорить, пока Хлебовводов не предложил позвать сюда плезиозавра и спросить его самого. «Он говорить не умеет», — сообщил комендант, присевший рядом с нами на корточки. «Ничего, разберемся», — возразил Хлебовводов. — Все равно же полагается его вызвать, так хоть польза какая-то будет».

— Грррм, — сказал Лавр Федотович. — Вопросы к докладчику имеются? Нет вопросов? Вызовите дело, товарищ Зубо.

Комендант вскочил и заметался по берегу. Сначала

он сорванным голосом кричал: «Лизка! Лизка!» Но поскольку плезиозавр, по-видимому, ничего не слышал, комендант сорвал с себя пиджак и принялся им размахивать, как потерпевший кораблекрушение при виде паруса на горизонте. Лизка не подавала никаких признаков жизни. «Спит, — с отчаянием сказал комендант. — Окуней наглоталась и спит...» Он еще немного побегал и помахал, а потом попросил меня погудеть. Я принялся гудеть. Лавр Федотович, высунувшись через борт, глядел на плезиозавра в бинокль. Я гудел минуты две, а потом сказал, что хватит, что нечего аккумуляторы подсаживать — дело казалось мне безнадежным.

— Товарищ Зубо, — не опуская бинокля, произнес Лавр Федотович. — Почему вызванный не реагирует?

Комендант побледнел и не нашелся, что сказать.

— Хромает у вас в хозяйстве дисциплина, — подал голос Хлебовводов. — Подраспустили подчиненных.

Комендант рванул на себе рубашку и разинул рот.

— Ситуация чревата подрывом авторитета, — сокрушенно заметил Фарфуркис. — Спать нужно ночью, а днем нужно работать.

Комендант в отчаянии принялся раздеваться. Действительно, иного выхода у него не было. Я спросил коменданта, умеет ли он плавать. Выяснилось, что нет, не умеет, но это ему все равно. «Ничего, — кровожадно сказал Хлебовводов. — На дутом авторитете выплывет». Я осторожно высказал сомнение в целесообразности предпринимаемых действий. Комендант, несомненно, утонет, сказал я, и есть ли необходимость в том, чтобы Тройка брала на себя несвойственные ей функции, подменяя собой станцию спасания на водах. Кроме того, напомнил я, в случае утонутия коменданта задача все равно останется невыполненной, и логика событий подсказывает нам, что тогда плыть придется либо Фарфуркису, либо Хлебовводову. Фарфуркис возразил, что вызов дела является функцией и прерогати-

вой представителя местной администрации, а за отсутствием такового — функцией научного консультанта, так что мои слова рассматривает как выпад и как попытку валить с больной головы на здоровую. Я заявил, что в данном случае я являюсь не столько научным консультантом, сколько водителем казенного автомобиля, от которого не имею права удаляться далее, чем на двадцать шагов. «Вам следовало бы знать приложение к Правилам движения по улицам и дорогам, — сказал я укоризненно, ничем не рискуя. — Параграф двадцать первый». Наступило тягостное молчание. Черная ручка от зонтика по-прежнему неподвижно маячила на горизонте. Все с трепетом следили, как медленно, словно трехствольная орудийная башня линейного корабля, поворачивается голова Лавра Федотовича. Все мы были на одном плоту, и никому из нас не хотелось залпа.

— Господом нашим... — не выдержал комендант, стоя на коленях в одном белье, — Спасителем Иисусом Христом... Не боюсь я плыть, и утонуть не боюсь!.. Но ей-то что, Лизке-то... Глотка у ей, что твое метро! Она не меня, она корову может сглотнуть, как семечку! Спросонья-то...

— В конце концов, — несколько нервничая, произнес Фарфуркис, — зачем ее звать? В конце концов и отсюда видно, что никакого интереса она не представляет. Я предлагаю ее рационализировать и за ненадобностью списать...

— Списать ее, заразу! — радостно подхватил Хлебовводов. — Корову она может сглотнуть, подумаешь! Тоже мне сенсация! Корову и я могу сглотнуть, а ты вот от этой коровы добейся... пятнадцать поросят, понимаешь, добейся, вот это работа!

Лавр Федотович, наконец, развернул главный калибр. Однако вместо орды враждующих индивидуумов, вместо гнезда кипения противоречивых страстей, вместо недисциплинированных, подрывающих авторитет

Тройки пауков в банке, он обнаружил перед собой в поле зрения прицела сплоченный рабочий коллектив, исполненных энтузиазма и деловитости сотрудников, горящих единым стремлением: списать заразу Лизку и перейти к следующему вопросу. Залпа не последовало. Орудийная башня развернулась в противоположном направлении, и чудовищные жерла отыскали на горизонте ничего не подозревающую ручку от зонтика.

— Народ... — донеслось из боевой рубки. — Народ смотрит вдаль. Эти плезиозавры народу...

— Не нужны! — выпалил Хлебовводов из малого калибра и промазал.

Выяснилось, что эти плезиозавры нужны народу позарез, что отдельные члены Тройки утратили чувство перспективы, что отдельные коменданты, видимо, забыли, чей хлеб они едят, что отдельные представители нашей славной научной интеллигенции обнаруживают склонность смотреть на мир через черное стекло и что, наконец, дело номер восемь впредь до выяснения должно быть отложено и пересмотрено в один из зимних месяцев, когда до него можно будет добраться по льду. Других предложений не было, вопросов к докладчику — тем более. На том и порешили.

— Перейдем к следующему вопросу, — объявил Лавр Федотович, и действительно, члены Тройки, толкаясь, устремились к заднему сидению. Комендант торопливо одевался, бормоча: «Я же тебе это припомню... Лучшие же куски давал... Как дочь родную... Скотина водоплавающая...»

Затем мы двинулись дальше по проселочной дороге, бегущей вдоль берега озера. Дорога была страшненькая, и я возносил хвалу небесам, что лето стоит сухое, иначе тут бы нам и конец. Однако хвалил я небеса преждевременно, потому что по мере приближения к болоту дорога все чаще обнаруживала тенденцию к исчезновению и к превращению в две поросшие осокой сырые рытвины. Я врубил демультипликатор и прикиды-

вал физические возможности своих спутников. Было совершенно ясно, что от толстого дряблого Фарфуркиса проку будет мало. Хлебовводов выглядел мужиком жилистым, но мне неизвестно было, оправился ли он в достаточной степени после желудочного удара. Лавр Федотович вряд ли даже вылезет из машины. Так что действовать в случае чего придется мне с комендантом, потому что Эдик не станет себя, наверное, обнаруживать ради того только, чтобы вытолкнуть из грязи девятисоткилограммовую машину.

Пессимистические размышления мои были прерваны появлением впереди гигантской черной лужи. Это не была патриархальная буколическая лужа типа миргородской, всеми изъезженная и ко всему притерпевшаяся. Это не была также мутная глинистая урбаническая лужа, лениво и злорадно развалившаяся среди неубранных куч строительного мусора. Это было спокойное и хладнокровное, зловещее в своем спокойствии мрачное образование, небрежно втиснувшееся между двумя рядами хилой осиновой поросли, загадочное, как глаз сфинкса, коварное, как царица Тамара, наводящее на кошмарную мысль о бездне, набитой затонувшими грузовиками. Я резко затормозил и сказал:

— Всё, приехали.

— Гррм, — произнес Лавр Федотович. — Товарищ Зубо, доложите дело.

В наступившей тишине было слышно, как колеблется комендант. До болота было еще довольно далеко, но комендант тоже видел лужу и тоже не видел выхода. Он покорно вздохнул и зашелестел бумагами.

— Дело номер тридцать восьмое, — прочитал он. — Фамилия: прочерк. Имя: прочерк. Отчество: прочерк. Название: Коровье Вязло.

— Минуточку! — прервал его Фарфуркис встревоженно. — Слушайте!

Он поднял палец и застыл. Мы прислушались и услышали. Где-то далеко-далеко победно запели сере-

бряные трубы. Множественный звук этот пульсировал, нарастал и словно бы приближался. Кровь застыла у нас в жилах. Это трубили комары и притом не все, а пока только командиры рот или даже только командиры батальонов и выше. И таинственным внутренним взором зверя, попавшего в ловушку, мы увидели вокруг себя гектары топкой грязи, поросшие редкой осокой, покрытые слежавшимися слоями прелых листьев, с торчащими гнилыми сучьями, и все это под сенью болезненно тощих осин, и на всех этих гектарах, на каждом квадратном сантиметре — отряды поджарых рыжеватых каннибалов, лютых, изголодавшихся, самоотверженных.

— Лавр Федотович! — пролепетал Хлебовводов. — Комары!

— Есть предложение! — нервно закричал Фарфуркис. — Отложить рассмотрение данного дела до октября... нет, до декабря месяца!

— Грррм, — произнес Лавр Федотович с удивлением. — Общественности неясно...

Воздух вокруг нас вдруг наполнился движением. Хлебовводов взвизгнул и изо всех сил ударил себя по физиономии. Фарфуркис ответил ему тем же. Лавр Федотович начал медленно и с изумлением поворачиваться, и тут свершилось невозможное: огромный рыжий пират четко, как на смотру, пал Лавру Федотовичу на чело и с ходу, не примериваясь, вонзил в него шпагу по самые глаза. Лавр Федотович отшатнулся. Он был потрясен, он не понимал, он не верил. И началось.

Мотая головой, как лошадь, отмахиваясь локтями, я принялся разворачивать автомобиль на узком пространстве между зарослями осинника. Справа от меня возмущенно рычал и ворочался Лавр Федотович, а с заднего сидения доносилась такая буря аплодисментов, словно разгоряченная компания уланов и лейб-гусаров предавалась взаимооскорблению действием. К тому моменту, когда я закончил разворот, я уже распух. У

меня было такое ощущение, что уши мои превратились в горящие оладьи, щеки — в караваи, а на лбу взошли многочисленные рога. «Вперед! — кричали на меня со всех сторон. — Назад! Газу! Да подтолкните же его! Я вас под суд отдам, товарищ Привалов!» Двигатель ревел, клочья грязи летели во все стороны, машина прыгала, как кенгуру, но скорость была мала, отвратительно мала, а навстречу нам с бесчисленных аэродромов снимались все новые и новые эскадрильи, эскадры, армады. Преимущество противника в воздухе было абсолютным. Все, кроме меня, остервенело занимались самокритикой, переходящей в самоистязание. Я же не мог оторвать рук от баранки, я не мог даже отбиваться ногами, у меня оставалась свободной только одна нога, и ею я бешено чесал все, до чего мог дотянуться. Потом, наконец, мы вырвались из зарослей осинника обратно на берег озера. Дорога сделалась получше и шла в гору. В лицо мне ударил тугой ветер. Я остановил машину. Я перевел дух и стал чесаться. Я чесался с упоением, я никак не мог перестать, а когда все-таки перестал, то обнаружил, что Тройка доедает коменданта. Комендант был обвинен в подготовке и осуществлении террористического акта, ему предъявили счет за каждую выпитую из членов Тройки каплю крови, и он оплатил этот счет сполна. То, что оставалось от коменданта к моменту, когда я вновь обрел способность видеть, слышать и думать, не могло уже, собственно, называться комендантом, как таковым: две-три обглоданных кости, опустошенный взгляд и слабое бормотание: «Господом Богом... Иисусом, Спасителем нашим...»

— Товарищ Зубо, — произнес, наконец, Лавр Федотович. — Почему вы прекратили зачитывать дело? Продолжайте докладывать.

Комендант принялся трясущимися руками собирать разбросанные по машине листки.

— Зачитайте непосредственно краткую сущность необъясненности, — приказал Лавр Федотович.

Комендант, всхлипнув в последний раз, прерывающимся голосом прочел:

— Обширное болото, из недр которого время от времени доносятся ухающие и ахающие звуки.

— Ну? — сказал Хлебовводов. — Дальше что?

— Дальше ничего. Все.

— Как так — все? — плачуще взвыл Хлебовводов. — Убили меня! Зарезали! И для ради чего? Звуки ахающие... Ты зачем нас сюда привез, террорист? Ты это нас ухающие звуки слушать привез? За что же мы кровь проливали? Ты посмотри на меня — как я теперь в гостинице появлюсь? Ты же мой авторитет на всю жизнь подорвал! Я же тебя сгною так, что от тебя ни аханья, ни уханья не останется!

— Грррм, — сказал Лавр Федотович, и Хлебовводов замолчал.

— Есть предложение, — продолжал Лавр Федотович. — Ввиду представления собой делом номер тридцать восемь под названием «Коровье Вязло» исключительной опасности для народа, подвергнуть названное дело высшей мере рационализации, а именно: признать названное необъясненное явление иррациональным, трансцендентным, а следовательно — реально не существующим и, как таковое, исключить навсегда из памяти народа, то есть из географических и топографических карт.

Хлебовводов и Фарфуркис бешено захлопали в ладоши. Лавр Федотович извлек из-под сидения свой гигантский портфель и положил его плашмя к себе на колени.

— Акт! — воззвал он.

На портфель лег акт о высшей мере.

— Подписи!!

На акт пали подписи.

— Печать!!!

Лязгнула дверца сейфа, волной накатила канцелярская затхлость, и перед Лавром Федотовичем возникла Большая Круглая Печать. Лавр Федотович взял ее обеими руками, занес над актом и с силой опустил. Мрачная тень прошла по небу, автомобиль слегка присел на рессорах. Лавр Федотович убрал портфель под сидение и продолжал:

— Коменданту Колонии товарищу Зубо за безответственность содержания в Колонии иррационального, трансцендентного, а следовательно — реально не существующего болота «Коровье Вязло», за необеспечение безопасной работы Тройки, а также за проявленный при этом героизм объявить благодарность с занесением. Есть еще предложения?

— Следующий, — произнес Лавр Федотович. — Что у нас сегодня еще, товарищ Зубо?

— Заколдованное место, — сказал воспрянувший комендант. — Недалеко отсюда, километров пять.

— Комары? — осведомился Лавр Федотович.

— Христом Богом... — истово сказал комендант, — Спасителем нашим... Нету их там. Муравьи разве что...

— Хорошо, — констатировал Лавр Федотович. — Осы? Пчелы? — продолжал он, обнаруживая высокую прозорливость и неусыпную заботу о народе.

— Ни Боже мой, — сказал комендант.

Лавр Федотович долго молчал.

— Бешеные быки? — спросил он, наконец.

Комендант заверил его, что ни о каких быках в этих окрестностях не может быть и речи.

— А волки? — спросил Хлебовводов подозрительно.

Но в окрестностях не было и волков, а также медведей, о которых вовремя вспомнил Фарфуркис. Пока они упражнялись в зоологии, я рассматривал карту, выискивая кратчайшую дорогу к заколдованному месту. Высшая мера уже оказала свое действие. На карте была Тьмускорпионь, была река Скорпионка, было озе-

ро Звериное, были какие-то Лопухи, болота же «Коровье Вязло», которое распространялось раньше между озером Звериным и Лопухами, больше не было. Вместо него на карте имело место анонимное пятно, какое можно видеть на старых картах на месте Антарктики. Мне было дано указание продолжать движение, и мы поехали. Мы миновали овсы, пробрались сквозь стадо коров, обогнули рощу Круглую, форсировали ручей Студеный и через полчаса оказались перед местом заколдованным.

Это был холм. С одной стороны он порос лесом. Вероятно, раньше здесь кругом стоял сплошной лес, тянувшийся до самого Китежграда, но его свели, и осталось только то, что было на холме. На самой вершине виднелась почерневшая избушка; по склону перед нами бродили две коровы с теленком под охраной большой понурой собаки. Возле крыльца копались в земле куры, а на крыше стояла коза.

— Что же вы остановились? — спросил меня Фарфуркис. — Надо же подъехать, не пешком же нам...

— И молоко у них, по всему видать, есть... — добавил Хлебовводов. — Я бы молочка сейчас выпил. Когда, понимаешь, грибами отравишься, очень полезно молока выпить. Ехай, ехай, чего стали!

Комендант попытался объяснить им, что подъехать к холму ближе невозможно, но объяснения его были встречены таким ледяным изумлением Лавра Федотовича, заразившегося мыслью о целебных свойствах парного молока, такими стенаниями Фарфуркиса: «Сметана! С погреба!», что он не стал спорить. Честно говоря, я его тоже не понял, но мне стало любопытно.

Я включил двигатель, и машина весело покатилась к холму. Спидометр принялся отсчитывать километры, шины шуршали по колючей траве, Лавр Федотович неукоснительно глядел вперед, а заднее сидение в предвкушении молока и сметаны затеяло спор — чем на болотах питаются комары. Хлебовводов вынес из лич-

ного опыта суждение, что комары питаются исключительно ответственными работниками, совершающими инспекционные поездки. Фарфуркис, выдавая желаемое за действительное, уверял, что комары живут самоедством. Комендант же кротко, но настойчиво лепетал о божественном, о какой-то Божьей росе и жареных акридах. Так мы ехали минут двадцать. Когда спидометр показал, что пройдено пятнадцать километров, Хлебовводов спохватился.

— Что же это получается? — сказал он. — Едем-едем, а холм где стоял, там и стоит... Поднажмите, товарищ водитель, что это вы, браток?

— Не доехать нам до холма, — кротко сказал комендант. — Он же заколдованный, не доехать до него и не дойти... Только бензин весь даром сожжем.

После этого все замолчали, и на спидометре намоталось еще семь километров. Холм по-прежнему не приблизился ни на метр. Коровы, привлеченные шумом мотора, сначала некоторое время глядели в нашу сторону, затем потеряли к нам интерес и снова уткнулись в траву. На заднем сидении нарастало возмущение. Хлебовводов и Фарфуркис обменивались негромкими замечаниями, деловитыми и зловещими. «Вредительство», — говорил Хлебовводов. «Саботаж, — возражал Фарфуркис. — Но злостный». Потом они перешли на шепот, и до меня доносилось только: — «...На колодках... ну да, колеса крутятся, а машина стоит. Комендант?.. Может быть, и ВРИО консультанта... бензин... подрыв экономики... потом машину спишут с большим пробегом, а она новенькая...» Я не обращал внимания на этих зловещих попугаев, но потом вдруг хлопнула дверца, и ужасным, стремительно удаляющимся голосом заорал Хлебовводов. Я изо всех сил нажал на тормоз. Лавр Федотович, продолжая движение, с деревянным стуком, не меняя осанки, влип в ветровое стекло. У меня в глазах потемнело от удара, и металлические зубы Фарфуркиса лязгнули над моим

ухом. Машину занесло. Когда пыль рассеялась, я увидел далеко позади товарища Хлебовводова, который все еще катился вслед за нами, размахивая конечностями.

— Затруднение? — осведомился Лавр Федотович обыкновенным голосом. Кажется, он даже не заметил удара. — Товарищ Хлебовводов, устраните.

Мы устраняли затруднение довольно долго. Пришлось сходить за Хлебовводовым, который лежал метрах в тридцати позади, ободранный, с лопнувшими брюками и очень удивленный. Выяснилось, что он заподозрил нас с комендантом в заговоре: будто мы незаметно поставили машину на колодки и гоним с корыстными целями километраж. Движимый чувством долга, он решил выйти на дорогу и вывести нас на чистую воду, заглянув под машину. Теперь он был буквально поражен тем, что это ему не удалось. Мы с комендантом приволокли его к машине, положили его так, чтобы он самолично убедился в своем заблуждении, а сами отправились на помощь Фарфуркису, который искал и никак не мог найти свои очки и верхнюю челюсть. Фарфуркис искал их в машине, но комендант нашел их далеко впереди.

Недоразумение было полностью устранено, возражения Хлебовводова оказались довольно поверхностными, и Лавр Федотович, только теперь осознав, что парного молока нет, не будет и быть не может, внес предложение не тратить бензин, принадлежащий народу, а приступить к своим прямым обязанностям.

— Товарищ Зубо, — произнес он. — Доложите дело.

У дела двадцать девятого фамилии, имени и отчества, как и следовало ожидать, не оказалось. Оказалось только условное наименование «Заколдун». Год рождения его терялся в глубине веков, место рождения определялось координатами с точностью до минуты дуги. По национальности Заколдун был русский, обра-

зования не имел, иностранных языков не ведал, профессия у него была — холм, а место работы в настоящее время опять же определялось упомянутыми выше координатами. За границей Заколдун сроду не бывал, ближайшим родственником его являлась мать-сыра земля, адрес же постоянного местожительства определялся все теми же координатами и с той же точностью. Что же касается краткой сущности необъясненности, то Выбегалло, не мудрствуя лукаво, выразил ее предельно кратко: «Во-первых, не проехать, во-вторых, не пройти».

Комендант сиял. Дело уверенно шло на рационализацию. Хлебовводов был доволен анкетой. Фарфуркис восхищался очевидной необъясненностью, ничем не угрожающей народу, и Лавр Федотович, по-видимому, тоже не возражал. Во всяком случае, он доверительно сообщил нам, что народу нужны холмы, а также равнины, овраги, буераки, эльбрусы и казбеки.

Но тут дверь избушки растворилась, и на крыльцо выбрался, опираясь на палочку, старый человек в валенках и длинной подпоясанной рубахе до колен. Он потоптался на пороге, посмотрел из-под руки на солнце, махнул клюкой на козу, чтобы слезла с крыши, и уселся на ступеньку.

— Свидетель! — сказал Фарфуркис. — А не вызвать ли нам свидетеля?

— Так что же — свидетель... — упавшим голосом сказал комендант. — Разве чего не ясно? Ежели вопросы есть, то я могу...

— Нет! — сказал Фарфуркис, с подозрением глядя на него. — Нет, зачем же вы? Вы вон где живете, а он — здешний.

— Вызвать, вызвать! — сказал Хлебовводов. — Пусть молока принесет.

— Грррм, — сказал Лавр Федотович. — Товарищ Зубо, вызовите свидетеля по делу номер двадцать девять.

— Эх! — воскликнул комендант, ударивши соломенной шляпой об землю. Дело рушилось на глазах. — Да если бы он мог сюда прийти, он бы разве там сидел? Он там, можно сказать, в заключении! Не выйти ему оттуда! Как он там застрял, так он там и остался...

И в полном отчаянии, под пристальными подозрительными взглядами Тройки, предчувствуя новые неприятности и ставши от этого необычайно словоохотливым, комендант поведал нам китежградское предание о заколдунском леснике Феофиле. Как жил он себе и не тужил в своей сторожке с женой, молодой тогда еще совсем был, здоровенный; как ударила однажды в холм зеленая молния, и начались страшные происшествия. Жена Феофилова как раз в город уходила; вернулась — не может взойти на холм, до дому добраться. И Феофил к ней рвался. Двое суток к ней с холма без передышки бежал — нет, не добежать. Так он там и остался. Он там, жена здесь... Потом, конечно, успокоился, жить-то надо. Так до сих пор и живет. Ничего, привык...

Выслушав эту страшную историю и задав несколько каверзных вопросов, Хлебовводов вдруг сделал открытие: переписи Феофил избежал, воспитательной работе не подвергался и вполне возможно, что остался кулаком-мироедом.

— Две коровы у него, — говорил Хлебовводов, — и теленок вот. Коза. А налогов не платит... — Глаза его вдруг расширились. — Раз теленок есть, значит и бык у него где-то там спрятан!

— Есть бык, это точно, — уныло признался комендант. — Он у него, верно, на той стороне пасется...

— Ну, браток, и порядочки у тебя, — зловеще сказал Хлебовводов. — Знал я, чувствовал, что хапуга ты и очковтиратель, но такого даже от тебя не ожидал. Что бы ты — подкулачник, что бы ты кулака покрывал, мироеда...

Комендант набрал в грудь побольше воздуха и заныл:

— Святой девой Марией... Двенадцатью первоапостолами...

— Внимание! — прошептал невидимый Эдик.

Лесник Феофил вдруг поднял голову и, прикрываясь от солнца ладонью, посмотрел в нашу сторону. Затем он встал, отбросил клюку и начал неторопливо спускаться с холма, оскальзываясь в высокой траве. Белая грязная коза следовала за ним, как собачонка. Феофил подошел к нам, сел, задумчиво подпер подбородок костлявой коричневой рукой, а коза села рядом и уставилась на нас желтыми бесовскими глазами.

— Люди как люди, — сказал Феофил. — Удивительно...

Коза обвела нас взглядом и выбрала Хлебовводова.

— Это вот Хлебовводов, — сказала она. — Рудольф Архипович. Родился в девятьсот десятом в Хохломе, имя родители почерпнули из великосветского романа, по образованию — школьник седьмого класса, происхождения родителей стыдится, иностранных языков изучал много, но не знает ни одного...

— Йес, — подтвердил Хлебовводов, стыдливо хихикая. — Натюрлихяволь!

— ...профессии как таковой не имеет. В настоящее время — руководитель-общественник. За границей был: в Италии, во Франции, в обеих Германиях, в Венгрии, в Англии... и так далее, всего в сорока двух странах. Везде хвастался и хапал. Отличительная черта характера — высокая социальная живучесть и приспособляемость, основанные на принципиальной глупости и на неизменном стремлении быть ортодоксальнее ортодоксов.

— Так, — сказал Феофил. — Можете что-нибудь к этому добавить, Рудольф Архипович?

— Никак нет! — весело сказал Хлебовводов. — Разве что вот... орто... доро... орто-ксальный... не совсем ясно!

— Быть ортодоксальнее ортодоксов означает при-

мерно следующее, — сказала коза. — Если начальство недовольно каким-нибудь ученым, вы объявляете себя врагом науки вообще. Если начальство недовольно каким-нибудь иностранцем, вы готовы объявить войну всему, что за кордоном. Понятно?

— Так точно, — сказал Хлебовводов. — Иначе невозможно. Образование у нас больно маленькое. Иначе того и гляди — промахнешься.

— Крал? — небрежно спросил Феофил.

— Нет, — сказала коза. — Подбирал, что с возу упало.

— Убивал?

— Ну что вы! — засмеялась коза. — Лично — никогда.

— Расскажите что-нибудь, — попросил Хлебовводова Феофил.

— Ошибки были, — быстро сказал Хлебовводов. — Люди не ангелы. И на старуху бывает проруха. Конь о четырех ногах и то спотыкается. Кто не ошибается, тот не ест... то-есть не работает...

— Понял, понял, — сказал Феофил. — Будете еще ошибаться?

— Ни-ког-да! — твердо сказал Хлебовводов.

— Благодарю вас, — сказал Феофил. Он посмотрел на Фарфуркиса.

— А этот приятный мужчина?

— Это Фарфуркис, — сказала коза. — По имени и отчеству никогда и никем не был называем. Родился в девятьсот шестнадцатом в Таганроге, образование высшее, юридическое, читает по-английски со словарем. По профессии — лектор. Имеет степень кандидата исторических наук. За границей не был и не рвется. Отличительная черта характера — осторожность и предупредительность, иногда сопряженные с риском навлечь на себя недовольство начальства, но всегда рассчитанные на благодарность от начальства впоследствии...

— Это не совсем так, — мягко возразил Фарфуркис. — Вы несколько подменяете термины. Осторожность и предупредительность являются чертой моего характера безотносительно к начальству, я таков от природы, это у меня в хромосомах. Что же касается начальства, то такова уж моя обязанность — указывать вышестоящим юридические рамки их компетенции.

— А если они выходят за эти рамки? — спросил Феофил.

— Видите ли, — сказал Фарфуркис, — чувствуется, что вы не юрист. Нет ничего более гибкого и уступчивого, нежели юридические рамки. Их можно указать, но их нельзя перейти.

— Как вы насчет лжесвидетельствования? — спросил Феофил.

— Боюсь, что этот термин несколько устарел, — сказал Фарфуркис. — Мы им не пользуемся.

— Как у него насчет лжесвидетельствования? — спросил Феофил козу.

— Никогда, — сказала коза. — Он всегда свято верит в то, о чем свидетельствует.

— Действительно, что такое ложь? — сказал Фарфуркис. — Ложь — это отрицание или искажение факта. Но что есть факт? Можно ли вообще в условиях нашей невероятно усложнившейся действительности говорить о факте? Факт есть явление или деяние, засвидетельствованное очевидцами. Однако очевидцы могут быть пристрастны, корыстны или просто невежественны. Факт есть деяние или явление, засвидетельствованное в документах. Но документы могут быть подделаны или сфабрикованы. Наконец, факт есть деяние или явление, фиксируемое лично мною. Однако мои чувства могут быть притуплены или даже вовсе обмануты привходящими обстоятельствами. Таким образом, оказывается, что факт как таковой есть нечто весьма эфемерное, расплывчатое, недостоверное, и возникает естественная потребность вообще отказаться от такого

понятия. Но в этом случае ложь и правда автоматически становятся первопонятиями, неопределимыми через какие бы то ни было более общие категории... Существует Большая Правда и антипод ее, Большая Ложь. Большая Правда так велика и истинность ее так очевидна всякому нормальному человеку, каким являюсь и я, что опровергать или искажать ее, то есть лгать, становится совершенно бессмысленно. Вот почему я никогда не лгу и, естественно, никогда не лжесвидетельствую.

— Тонко, — сказал Феофил. — Очень тонко. Конечно, после Фарфуркиса останется эта его философия факта?

— Нет, — сказала коза, усмехаясь. — То есть, философия останется, но Фарфуркис тут ни при чем. Это не он ее придумал. Он вообще ничего не придумал, кроме своей диссертации, так что останется от него только эта диссертация, как образец работ такого рода.

Феофил задумался.

— Правильно ли я понял, — сказал Фарфуркис, обращаясь к Феофилу, — что все кончено и мы можем продолжать свои занятия?

— Еще нет, — ответил Феофил, очнувшись от задумчивости. — Я хотел бы еще задать несколько вопросов вот этому гражданину...

— Как?! — вскричал пораженный Фарфуркис. — Лавру Федотовичу?

— Общественность... — проговорил Лавр Федотович, глядя куда-то в бинокль.

— Вопросы Лавру Федотовичу? — бормотал потрясенный Фарфуркис.

— Да, — подтвердила коза, — Вунюкову Лавру Федотовичу, год рождения...

— Все, — прошептал Эдик. — Энергии не хватает. Этот Лавр — как бездонная бочка...

— Да что же это такое! — возопил в отчаянии Фарфуркис. — Товарищи! Да куда это мы опять заехали?

Ну что это такое? Неприлично же...

— Правильно, — сказал Хлебовводов. — Не наше это дело. Пускай милиция разбирается.

— Грррм, — произнес Лавр Федотович. — Другие предложения есть? Вопросы к докладчику есть? Выражая общее мнение, предлагаю дело номер двадцать девять рационализировать в качестве необъясненного явления, представляющего интерес для Министерства пищевой промышленности и Министерства финансов. В целях первичной утилизации предлагаю дело номер двадцать девять под наименованием «Заколдун» передать в прокуратуру Тьмускорпионского района.

Я посмотрел на вершину холма. Лесник Феофил, тяжело опираясь на клюку, стоял на своем крылечке и из-под ладони озирал окрестности. Коза бродила по огороду. Я, прощаясь, помахал им беретом. Горестный вздох невидимого Эдика прозвучал над моим ухом одновременно с тяжелым стуком Большой Круглой Печати.

ЭПИЛОГ

На другое утро, едва проснувшись, я тотчас почувствовал, как все горько и безнадежно. Эдик в одних трусах сидел за столом, подперев руками взлохмаченную голову, а перед ним, на листе газеты, поблескивали детали разобранного до винтика реморализатора. Сразу было видно, что Эдику тоже гадко и безнадежно.

Отшвырнув одеяло, я спустил ноги на пол, вытащил из кармана куртки сигарету и закурил. В других обстоятельствах этот нездоровый поступок вызвал бы немедленную и однозначную реакцию Эдика, не терпевшего расхлябанности и загрязненного воздуха. В других обстоятельствах я и сам бы не решился курить натощак при Эдике. Но сегодня нам было все равно. Мы были разгромлены, мы висели над пропастью.

Во-первых, мы не выспались. Это первое, как вы-

разился бы Модест Матвеевич. До трех часов ночи мы угрюмо ворочались в постелях, подводя горькие итоги, открывали окна, закрывали окна, пили воду, а я даже кусал подушку.

Мало того, что мы оказались бессильны перед этими канализаторами. Это было бы еще ничего. В конце концов нас никто никогда не учил, как с ними обращаться. Были мы еще жидковаты, да и зеленоваты, пожалуй.

Мало того, что все надежды получить хотя бы наш Черный Ящик и нашего Говоруна развеялись в дым после вчерашней исторической беседы у подъезда гостиницы. В конце концов противник обладал таким мощным оружием, как Большая Круглая Печать, и нам нечего было ей противопоставить.

Но речь теперь шла о всей нашей дальнейшей судьбе.

Исторический разговор у подъезда происходил примерно так. Едва я подогнал запыленную машину к гостинице, как на крыльце возник из ничего непривычно суровый Эдик.

Эдик: Простите, Лавр Федотович. Не можете ли вы уделить мне несколько минут?

Лавр Федотович (сопит, облизывает комариные волдыри на руке, ждет, пока ему откроют дверцу машины).

Хлебовводов (сварливо): Прием окончен.

Эдик (сдвигая брови): Я хотел бы выяснить, когда будут исполнены наши заявки.

Лавр Федотович (Фарфуркису): Пиво — это от слова «пить».

Хлебовводов (ревниво): Точно так! Общественность любит пиво.

Все (лезут из машины).

Комендант (Эдику): Да вы не волнуйтесь, в следующем же году рассмотрим ваши заявочки...

Эдик (внезапно осатанев): Я требую прекратить волокиту! (Встает в дверях, мешая пройти).

Лавр Федотович: Грррм... Затруднение? Товарищ Хлебовводов, устраните.

Эдик (зарываясь): Я требую немедленного удовлетворения наших заявок!

Я (уныло): Да брось ты, безнадюга ведь...

Комендант (испуганно): Христом-Богом... Пресвятой Богородицей Тьмускорпионской... Молю...

Безобразная сцена. Хлебовводов, вставши перед Эдиком, измеряет его взглядом с головы до ног. Эдик поспешно сбрасывает излишки ярости в виде маленьких шаровых молний. Вокруг собираются любознательные. Возглас из раскрытого окна: «Дай ему! Чего смотришь? По луковке!» Фарфуркис что-то торопливо шепчет Лавру Федотовичу.

Лавр Федотович: Грррм... Есть мнение, что нам надлежит продвигать нашу талантливую молодежь. Предлагается: товарища Привалова утвердить в должности шофера при Тройке, а товарища Амперяна назначить врио товарища заболевшего Выбегаллы с выплатой разницы в окладе. Товарищ Фарфуркис, подготовьте проект приказа. Копию — вниз. (Идет на Эдика).

Врожденная вежливость Эдика берет верх над всем прочим. Он уступает дорогу и даже открывает дверь перед пожилым человеком. Я ошеломлен, плохо вижу и плохо слышу.

Комендант (радостно пожимая мне руку): С повышением вас, товарищ Привалов! Вот все и уладилось...

Лавр Федотович (задержавшись в дверях): Товарищ Зубо!

Комендант: Слушаю!

Лавр Федотович (шутит): Была вам, товарищ Зубо, сегодня баня, так сходите вы теперь сегодня в баню!

Жуткий хохот удаляющейся Тройки. Занавес.

Вспомнив эту сцену, вспомнив, что отныне и надолго мне суждено быть шофером при Тройке, я раздавил окурок и прохрипел:

— Надо удирать.

— Нельзя, — сказал Эдик. — Позор.

— А оставаться — не позор?

— Позор, — согласился Эдик. — Но мы — разведчики. Нас никто пока не освобождал от наших обязанностей. Надо стерпеть нестерпимое. Надо, Саша! Надо умыться, одеться и идти на заседание.

Я застонал, но не нашел, что возразить.

Мы умылись, оделись, мы даже позавтракали. Мы вышли в город, где все люди были заняты полезным, нужным делом. Мы угрюмо молчали, мы были жалки.

У входа в колонию на меня вдруг напал из-за угла старикашка Эдельвейс. Эдик выхватил рубль, но это не произвело обычного действия. Материальные блага старикашку более не интересовали, он жаждал благ духовных. Он требовал, чтобы я включился в качестве руководителя в работу по усовершенствованию его эвристического агрегата и для начала составил бы развернутый план такой работы, рассчитанный на время его, старикашки, учебы в аспирантуре.

Через пять минут беседы свет окончательно стал мраком перед моими глазами, горькие слова готовы были вырваться и страшные намерения близились к осуществлению. В отчаянии я понес какую-то околесицу насчет самообучающихся машин. Старик слушал меня, раскрыв рот, и впитывал каждый звук — по-моему, он запоминал эту околесицу дословно. Затем меня осенило. Как опытный провокатор, я спросил, достаточно ли сложной машиной является агрегат Машкина? Он немедленно и страстно заверил меня, что агрегат невообразимо сложен, что иногда он, Эдельвейс, сам не понимает, что там и к чему. «Прекрасно, — сказал я. — Известно, что всякая достаточно сложная электронная ма-

шина обладает способностью к самообучению и к самовоспроизводству. Самовоспроизводство нам пока не нужно, а вот обучить агрегат Машкина печатать тексты самостоятельно, без человека-посредника, мы обязаны в самые короткие сроки. Как это сделать? Мы применим хорошо известный и многократно испытанный метод длительной тренировки («Метод Монте-Карло», — вставил слегка оживший Эдик). Да, Монте-Карло. Преимущество этого метода — в простоте. Берется достаточно обширный текст, скажем, «Жизнь животных» Брэма. Машкин садится за свой агрегат и начинает печатать слово за словом, строчку за строчкой, страницу за страницей. При этом анализатор агрегата будет анализировать... («Думатель будет думать», — вставил Эдик). Да, именно думать... И таким образом, агрегат станет у нас обучаться. Вы и ахнуть не успеете, как он начнет сам печатать. Вот вам рубль подъемных, и ступайте в библиотеку за Брэмом...».

Эдельвейс поскакал в библиотеку, а мы, несколько ободренные этой маленькой победой над местными стихиями, первой нашей победой на семьдесят шестом этаже, пошли своей дорогой, радуясь, что с Эдельвейсом теперь покончено навсегда, что настырный старик больше не будет теперь путаться под ногами и мучить меня своей глупостью, а будет мирно сидеть себе за «ремингтоном», колотить по клавишам и, высунув язык, срисовывать латинские буквы. Он будет долго колотить и срисовывать, а когда мы покончим с Брэмом, то возьмем для разгона тридцать томов Чарлза Диккенса, а там, даст Бог, примемся и за девяностотомное собрание сочинений Льва Николаевича со всеми письмами, статьями, заметками и комментариями...

Когда мы вошли в комнату заседаний, комендант что-то читал вслух, а канализаторы вкупе с Выбегаллой слушали и кивали. Мы тихонько сели на свои места, взяли себя в руки и тоже стали слушать. Некоторое время мы ничего не понимали, да и не старались

понять, но довольно скоро выяснилось, что Тройка занята сегодня разбором жалоб, заявлений и информационных сообщений от населения. Федя раньше рассказывал нам, что такое мероприятие проводится еженедельно.

На нашу долю выпало заслушать несколько писем.

Школьники села Вунюшино сообщали про местную бабку Зою. Все говорят, что она ведьма, что из-за нее урожаи плохие, и внука своего, бывшего отличника Василия Кормилицына, она превратила в хулигана и двоечника за то, что он снес в утиль ее ногу. Школьники просили разобраться в этой ведьме, в которую они, как пионеры, не верят, и чтобы ученые объяснили научно, как это она портит урожаи и как превращает отличников в двоечников, и нельзя ли в ней переменить плюсы на минусы, чтобы она двоечников превращала бы в отличников.

Группа туристов наблюдала за Лопухами зеленого скорпиона ростом с корову. Скорпион таинственным излучением усыпил дежурных и скрылся в лесах, похитив месячный запас продовольствия. Туристы предлагали свои услуги для поимки чудовища при условии, что им будут оплачены дорожные расходы.

Житель города Тьмускорпиони Заядлый П. П. жаловался на соседа, второй год снимавшего у него молоко при помощи специальной аппаратуры. Требовалось найти управу.

Другой житель Тьмускорпиони, гр. Краснодевко С. Т., выражал негодование по поводу того, что городской парк загажен разными чудовищами и погулять стало негде. Во всем обвинялся комендант Зубо, использующий отходы колонистской кухни для откармливания трех личных свиней и безработного тунеядца зятя.

Сельский врач из села Бубново сообщал, что при операции на брюшной полости гражданина Панцерманова 115-ти лет обнаружил у него в отростке слепой кишки древнюю согдийскую монету. Врач обращал

внимание общественности на тот факт, что покойный Панцерманов в Средней Азии никогда не был и обнаруженной монеты никогда прежде не видел. На остальных сорока двух страницах письма высокоэрудированный эскулап излагал свои соображения относительно телепатии, телекинеза и четвертого измерения. Прилагались графики, таблицы и фотографии аверса и реверса таинственной монеты в натуральную величину.

Мероприятие осуществлялось вдумчиво и без поспешности. По прочтении каждого письма наступала длинная пауза, заполненная глубокомысленными междометиями. Потом Лавр Федотович продувал «Герцеговину-Флор», обращал свой взор к Выбегалле и осведомлялся, какой проект ответа может доложить Тройке товарищ научный консультант. Выбегалло широко улыбался красными губами, обеими руками оглаживал бороду и, попросив разрешения не вставать, оглашал требуемый проект. Он не баловал корреспондентов Тройки разнообразием. Форма ответа применялась стандартная: «Уважаемый (ая, ые) гр. ...! Мы получили и прочли ваше интересное письмо. Сообщаемые вами факты хорошо известны науке и интереса для нее не представляют. Тем не менее мы горячо благодарим вас за ваше наблюдение и желаем вам успехов в работе и личной жизни». Подпись. Все. По-моему, это было лучшее из всех изобретений Выбегаллы. Нельзя было не испытать огромного удовольствия, посылая такое письмо в ответ на сообщение о том, что «гр. Щин просверлил в моей стене отверстие и пускает скрозь него отравляющих газов».

Но машина продолжала работать с удручающей монотонностью. Однообразно и гнусаво зудел комендант, сыто порыкивал Лавр Федотович, шлепал губами Выбегалло. Смертельная апатия овладевала мною. Я сознавал, что это — разложение, что я погружаюсь в зыбучую трясину духовной энтропии, но не хотелось больше бороться. «И ладно, — вяло думалось мне. — И

пусть. И так люди живут. Все разумное действительно, все действительное разумно. А поскольку разумно, постольку и добро. А раз уж добро, то почти наверняка и вечно... И какая в сущности разница между Лавром Федотовичем и Федором Симеоновичем? Оба они бессмертны, оба они всемогущи. И чего ссорятся? Непонятно... Что, собственно, человеку нужно? Тайны какие-нибудь загадочные? Не нужны они мне. Знания? Зачем знания при таком окладе денежного содержания? У Лавра Федотовича даже и преимущества есть. Он и сам не думает, и другим не велит. Не допускает он переутомления своих сотрудников — добрый человек, внимательный... И карьеру под ним хорошо сделать, Фарфуркиса оттеснить, Хлебовводова — что они, в самом деле... Дураки ведь, только авторитет начальства подрывают. А авторитет надо поднимать. Раз Господь начальству ума не дал, то надобно ему хотя бы авторитет обеспечить. Ты ему авторитет, а он тебе все остальное. Полезным, главное, стать, нужным... правой рукой или, в крайнем случае, левой...»

И я бы погиб, отравленный жуткими эманациями Большой Круглой Печати и банды канализаторов, и кончил бы жизнь свою в лучшем случае экспонатом нашего институтского вивария. И Эдик бы погиб. Он еще рыпался, он еще принимал позы, но все это была одна видимость, на самом же деле, как он мне позже признался, он в это время мечтал вытеснить Выбегаллу и получить для застройки участок в пригороде. Да, погибли бы мы. Стоптали бы нас, воспользовавшись нашим отчаянием и упадком духа. Но в какой-то из этих страшных моментов немой гром потряс вокруг нас вселенную. Мы очнулись. Дверь была распахнута. На пороге стояли Федор Симеонович и Кристобаль Хозевич.

Они были в неописуемом гневе. Они были ужасны. Там, куда падал их взор, дымились стены и плавились стекла. Вспыхнул и обвалился плакат про народ и сенсации. Дом дрожал и вибрировал, дыбом поднялся пар-

кет, а стулья присели на ослабевших от ужаса ножках. Это невозможно было вынести, и Тройка этого не вынесла.

Хлебовводов и Фарфуркис, тыча друг в друга трепещущими дланями, хором возопили: «Это не я! Это все он!», обратились в желтый пар и рассеялись без следа.

Профессор Выбегалло пролепетал: «Мон дье», нырнул под свой столик и, извлекши оттуда обширный портфель, протянул его громовержцам со словами: «Эта... все материалы, значить, об этих прохвостах у меня здесь собраны, вот они, матерьялы-та!».

Комендант истово рванул на себе ворот и пал на колени.

Лавр же Федотович, ощутив вокруг себя некоторое неудобство, беспокойно заворочал шеей и поднялся, упираясь руками в зеленое сукно.

Федор Симеонович подошел к нам, обнял нас за плечи и прижал к своему обширному чреву. «Ну-ну, — прогудел он, когда мы, стукнувшись головами, припали к нему. — Н-ничего, м-молодцы... Т-ри дня все-таки продержались... Эт-здорово...» Сквозь слезы, застилающие глаза, я увидел, как Кристобаль Хозевич, зловеще играя тростью, приблизился к Лавру Федотовичу и приказал ему сквозь зубы:

— Пшел вон.

Лавр Федотович медленно удивился.

— Общественность... — произнес он.

— Вон!!! — взревел Хунта.

Секунду они смотрели друг другу в глаза. Затем в лице Лавра Федотовича зашевелилось что-то человеческое — не то стыд, не то страх, не то злоба. Он неторопливо сложил в портфель свое председательское оборудование и проговорил:

— Есть предложение: ввиду особых обстоятельств прервать заседание Тройки на неопределенный срок.

— Навсегда, — сказал Кристобаль Хозевич, кладя трость поперек стола.

— Грррм... — проговорил Лавр Федотович с сомнением.

Он величественно обогнул стол, ни на кого не глядя, проследовал к двери и, прежде чем удалиться, сообщил:

— Есть мнение, что мы еще встретимся в другое время и в другом месте.

— Вряд ли, — презрительно сказал Хунта, скусывая кончик сигары.

Но мы действительно встретились с Лавром Федотовичем совсем в другое время и в другом месте.

Это, впрочем, совсем другая история.

Д. Руднев

„ЗАМКНУТЫЙ МИР" СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ФАНТАСТИКИ

На далекой планете
Аномалии часто путали
причины со следствиями.

В. Бахнов. «Как погасло солнце...»

В 1966 году редакция сборника «Фантастика, 1966 год» (изд-во «Молодая гвардия») провела среди своих читателей анкету. Результаты ее были напечатаны в сборнике «Фантастика, 1967 год»[1]).

Среди прочего выяснилось, что читатели чрезвычайно требовательны к этому жанру, что занимательность произведений их отнюдь не удовлетворяет, что они ждут от авторов если не решения, то, во всяком случае, постановки социальной и философской проблематики.

Главное, пишет двадцатидевятилетний электрик, это те книги,

«которые предсказывают заранее появление в обществе тех или иных социальных явлений, событий, технических изобретений и философских воззрений».

---

[1]) В. Савченко. Фантаст читает письма. «Фантастика, 1967 год».

Тридцатишестилетний врач считает в фантастике главным «философско-социальное направление». Но от писателей-фантастов ожидается не только разработка определенных проблем, но и свой подход к ним. Двадцатилетний чабан, например, считает, что этот литературный жанр должен дать возможность

«увидеть мир глазами другого человека, который увидел мир с другой точки зрения, увидел и удивился, и это удивление сумел передать людям».

Двадцатисемилетнюю учительницу

«научная фантастика заставляет задуматься о проблемах мирового масштаба, оторваться от повседневной работы и взглянуть на себя и на все окружающее как бы со стороны — например, из будущего или, наоборот, из прошлого — и оценить как-то по-новому свою деятельность».

Читатели также пишут, что тиражи книг и сборников — слишком маленькие, что трудно достать выдающиеся произведения. Оказывается, что фантастика «до села почти не доходит».

В том же сборнике «Фантастика, 1967 год» помещена другая анкета, проведенная студентами МГУ среди школьников, студентов и интеллигенции[2]).

Большая часть опрошенных одобряет идею создания специального журнала, посвященного научной фантастике, но считает, что

«нашей фантастике недостает смелости в постановке общественных проблем...»

На вопрос «Что вы прежде всего ищете в фантастике?» большинство читателей отвечает: «парадоксальность, неожиданный взгляд на вещи» и «размышления о социальных последствиях науки».

Самыми популярными фантастами считаются

---

[2]) От Москвы до Витима. «Фантастика, 1967 год».

польский писатель С. Лем, братья А. и Б. Стругацкие и американский писатель Р. Брэдбери.

В списках, составленных из названий десяти самых любимых книг, в среднем насчитываются 4 произведения Стругацких и С. Лема и американцев Р. Брэдбери, Р. Шекли и А. Азимова. И. Ефремов занимает лишь 11-е и 12-ое место.

Пути развития русской фантастики за последние десятилетия в значительной мере тождественны путям развития всей русской литературы в СССР. В двадцатых годах самые выдающиеся произведения (например, «Мы» Е. Замятина и «Роковые яйца» М. Булгакова) носили ярко выраженный социально-сатирический характер. С годами обстановка менялась, и по мере ее ухудшения антиутопические, пессимистические настроения парадоксальным образом заменялись утопическо-оптимистическими. В те годы, когда М. Булгаков раскрашивал спичечные коробки, чтоб не умереть с голода, Р. Беляев был признан корифеем советской фантастики.

Заглохший жанр возродился лишь после 1956 года. Первым выдающимся событием была книга И. Ефремова «Туманность Андромеды» (1957 г.). Этот роман, несмотря на его сомнительные литературные достоинства, имел большой успех, ибо развернул перед читателями картину будущего «коммунистического» общества, стройную, величественную и дающую во многих отношениях повод для сравнений и размышлений.

Другие наиболее выдающиеся писатели-фантасты конца пятидесятых и начала шестидесятых годов — А. Казанцев, Г. Гор, А. и Б. Стругацкие.

Казанцев начал свою писательскую деятельность еще до войны. Его привлекают главным образом научные проблемы, связанные с покорением космоса и жизнью других планет. Он — автор нашумевшей гипотезы о Тунгусском метеорите, трактующей это собы-

тие как взрыв атомных двигателей космического корабля. В социально-идейном отношении его произведения не представляют особого интереса.

Г. Гор (его первое значительное произведение «Докучливый собеседник», 1961 г.) интересуется в основном вопросами времени, биологической проблематикой человека, а также его связью с природой. У него интересный подход к проблемам кибернетики, к отношениям между машиной и человеком. Он, как и Ефремов, воспевает в утопическо-радужных красках будущее коммунистическое общество.

А. и Б. Стругацкие в своих первых произведениях («Страна багровых туч», «Путь на Амальтею» и т. д.) также отдают дань радужно-утопическому будущему, но с самого начала в их творчестве чувствуется, что интересует их иное, а именно: «поступки людей, их моральные критерии, их оценка»[3]).

Уже в рассказе «Попытка к бегству»[4]) в их творчестве намечаются эволюция в сторону более глубокой проблематики и попытки найти для будущего «пути и средства, которые не уродуют ни цели, ни человека»[5]).

Первая половина шестидесятых годов отмечается бурным развитием русской научно-фантастической литературы. В этом процессе важно отметить влияние польского писателя С. Лема, которого «русские читатели как бы натурализовали», ибо проблематика его творчества по сути не отличается от проблематики русских фантастов. Несмотря на то, что центральная проблема Лема — «понимание и непонимание», а у Стругацких скорее — «вмешательство и невмешательство»,

---

[3]) Р. Нудельман. Разговор в купе. «Фантастика, 1964 год», стр. 353.

[4]) «Фантастика, 1962 год».

[5]) Р. Нудельман. Разговор в купе. «Фантастика, 1964 год», стр. 353.

его влияние и на их творчество кажется мне значительным.

В этот период писателям-фантастам приходится бороться одновременно на двух фронтах: во-первых, добиваться признания этого жанра как полноценного и полноправного в литературе, во-вторых (и этот момент, несомненно, связан с предыдущим), каждый писатель пытается найти и определить свое творческое лицо.

Особый интерес с этой точки зрения представляют собой две статьи 1964 года. Первая — А. Громовой «Золушка» (в «Литературной газете» от 1 февраля 1964 г.), смело и уверенно утверждающая право на жизнь писателей-фантастов, вторая — Р. Нудельмана «Разговор и купе»[6]), в которой автор пытается разобраться в достоинствах и опасностях этого литературного жанра.

А. Громова в своей статье противопоставляет огромный успех научной фантастики у читателей — ее бесправию в литературной жизни СССР. Она пишет, что «доступ в члены Союза писателей для тех, кто работает в этом жанре, фактически закрыт...» Вот, например ее описание поездки писателей-фантастов в Харьков по приглашению местного «общества любителей научной фантастики»:

«Общество любителей научной фантастики возникло при Доме ученых. В его составе — академики, профессора, доценты. Но общество создано на широких демократических началах: в его заседаниях принимают самое активное участие инженеры, техники, преподаватели, врачи, рабочие, студенты, даже школьники старших классов. Зал общества зачастую не вмещает всех желающих. Приходят иной раз человек 500 и в тесноте, да не в обиде сидят (а то и стоят) до полуночи, спорят, рассуждают, мечтают. Выступающих всегда много, уговаривать не приходится. И регламент для всех одинаков — и академику, и школьнику дают пять минут (впрочем, иногда зал голосует — продолжать!). Спорят яростно, аргументация остроумна и глубока.

---

[6]) «Фантастика, 1964 год».

Да и записки, которые писали гостям-москвичам Аркадию Стругацкому — Анатолию Днепрову, отличались от обычных вопросов писателям. Спрашивали: «Что вы думаете о проблеме бессмертия?» «Как вы относитесь к проблеме соотношения сознательного и подсознательного, имеет ли подсознательное право на изображение в научно-фантастической литературе?»« Считаете ли вы возможным создание кибернетической машины, обладающей человеческой психикой?» «Какой вы представляете любовь в будущем?» «Будут ли люди будущего счастливей людей настоящего?»

Почему же, однако, фантастика все еще находится на положении бесправной золушки в литературе? Конечно, известную роль тут сыграло и то обстоятельство, что в не столь давние годы фантастика была до такой степени задавлена, занесена на такой крохотный пятачок, со всех сторон стиснутый достопамятными требованиями «ближнего прицела», что не смогла удержаться в границах искусства, сползла на уровень популяризаторства, приправленного для большей удобоваримости приключениями. Но этот период миновал, и скомпрометированный в те годы жанр давно уже доказал свою художественную полноценность».

Статья Р. Нудельмана «Разговор в купе» начинается с разбора проблемы «научности» фантастики. Автор приходит к заключению, что, ограничивая себя изображением влияния науки на общество (как, например, Ефремов), писатели-фантасты обедняют и суживают свой жанр.

«По мере своего развития наука обесчеловечивается. Фантастика должна стремиться выявить отношения науки и человека. Конфликт рационального начала науки с субъективным началом человека приводит последнего к контакту с «Иным», с „неизвестным"».

Фантастика не должна моделировать будущее, создавать утопии на базе сегодняшнего социального строя, главное — столкновение с неведомым: «в любом

столкновении с неведомым что-то неведомое открывается человеку в нем самом»[7]).

Преимущество фантастики в том, что

«в ее несуществующем мире проблема может выступить очищенной от лишней конкретности, во всей логической чистоте. Попробуйте поставить человека перед бесконечностью пространства или времени. Сложность фантастики в том, что ее интересует не показ читателю явлений и скрытых за ними сущностей, а более или менее прямой показ сущностей, да и то не всех[8]).

...Через субъективные и конкретные художественные формы читатель приобщается более глубоко, более интимно к общим законам. От знакомых общих законов — к конкретным представлениям, к чувственной реальности и через нее — к остраненному, чувственному постижению этих общих закономерностей. В обычной литературе чуть ли не наоборот: от знакомой конкретности своего быта — к обобщению, изложенному художником, и через него к более глубокому пониманию конкретного[9]).

...В общем, фантастика создает как бы особое литературное пространство — пространство и время чистых проблем, рациональных сущностей мира»[10]).

В фантастике два основных направления — «релятивизм» и «антропоцентризм».

«Главный метод первого — сомнение, отрицание мифов и догм сегодняшнего дня. Это дает возможность разрушить устоявшиеся представления, всколыхнуть живую, ищущую мысль, предостеречь от розового оптимизма»[11]).

---

[7]) Р. Нудельман. Разговор в купе. «Фантастика, 1964 год», стр. 353.

[8]) Там же, стр. 357.

[9]) Там же, стр. 359.

[10]) Там же, стр. 360.

[11]) Там же, стр. 364.

Представители этого течения Лем и Стругацкие. Антропоцентризм опасен, ибо

«от убеждения во всемогуществе человека (причем, человека одной системы, человека будущего коммунизма. — Д. Р.) есть реальная опасность перейти к убеждению в его избранности — избранности земного (коммунистического. — Д. Р.) человека, а не разумного существа вообще» (т. е. не обязательно коммунистического. — Д. Р.).

В антропоцентристской фантастике вселенная и история теряют качественное многообразие — «качество вырождается во внешнее различие»[12]).

В противоположность этому Лем позволяет нам увидеть самих себя со стороны. Таким образом, человек постигает меру своей силы или слабости в столкновении с «Иным», а не слепо следуя указаниям раз и навсегда заданной схемы. Чтó же именно открывается при подобном столкновении — эта задача решается каждым автором по-своему.

Как видно из вышесказанного, фантастика середины шестидесятых годов могла бы питать надежды на расцвет в будущем, если бы развивалась в условиях свободы творчества. Но, по-видимому, поддержки читателей (их насчитывается более трех миллионов) и целеустремленности некоторых писателей-фантастов было недостаточно, чтобы обеспечить этому жанру полноценную жизнь. Журнал, посвященный фантастике, так и не был создан. Ежегодные сборники, выпускаемые изд-вами «Знание» и «Молодая гвардия», оказались малоинтересными, и появление в них ценных произведений (например, «Суета вокруг дивана» Стругацких или рассказы Лема в 1965 г.) остались исключениями.

Тем более выделяются на фоне общей бездарности и скуки произведения Лема и братьев Стругацких, кото-

---

[12]) Р. Нудельман. Разговор в купе. «Фантастика, 1964 год», стр. 364.

рые, вопреки общей тенденции, продолжали углублять свое творчество, кульминационным пунктом которого я считаю вторую часть повести «Улитка на склоне»[13]).

Прислушаемся к нескольким высказываниям этих писателей о их творчестве.

Лем пишет:

«Должен признаться: будущее занимает меня лишь как человека, интересующегося наукой. Как писателя меня волнует только настоящее, современность. Иногда читателям кажется, что в моих книгах изображаются картины конкретного будущего. Между тем такой задачи я перед собой даже не ставлю... Пусть люди будущего сами решают свои проблемы — мы будем решать наши»[14]).

А будущее Лем видит как серию повторяющегося настоящего, центральной проблемой которого всегда будет свобода и ответственность, из нее вытекающая:

«Особой интеграции планирования и мышления будет требовать тот род, та вершина свободы, которая порождает неизбежность выбора и решения; и ясно, что ликвидация преград, ограничивающих человеческие возможности, окажется не только не освобождением — и уж наверняка не открытием врат рая, некоей Шлараффии, страны с «кисельными берегами» — а проблемой, равной которой еще не знала история. В таком свете свобода оказывается наибольшим, быть может, вызовом, брошенным роду человеческому, пустотой, которую необходимо будет застроить, заселить, колоссальной трудностью, которую надо будет преодолеть, не соизмеримой ли с той, с которой борется мир наших дней. Но мы совершили бы ошибку, считая, что это будет поворотный пункт, развилок. Нет, это будет ряд таких следующих один за другим пунктов, вех, через которые человечество будет продвигаться — всегда иное, все такое же,

---

[13]) А. и Б. Стругацкие. Улитка на склоне. «Байкал» № 1, 2. Улан-Удэ, 1968.

[14]) «Советская культура» от II декабря 1965 г.

ибо, завоевав себе свободу, оно будет вынуждено постоянно до нее дорастать»[15]).

Для Стругацких, как и для Лема, центральная проблема — «проблема сознательного выбора человеком своего места в общественном процессе»[16]), но методика у них иная. В то время как Лем переносит, «вторгает» настоящее в будущее, Стругацкие действуют наоборот:

«Нас привлекает в фантастике, прежде всего, то, что в литературе она является идеальным и единственным пока орудием, позволяющим подобраться к одной из важнейших проблем сегодняшнего дня. Такой проблемой является вторжение будущего в настоящее, вторжение, обусловленное невиданными темпами социального и технологического прогресса человечества за последние десятилетия»[17]).

Из вышесказанного явствует, что научно-фантастическая литература ставит перед собой гораздо бо́льшие задачи, чем чисто популярно-научная или занимательно-приключенческая литературы. Писатели-фантасты касаются в своих произведениях социальной и философской проблематики и считают, что главное значение их метода — в том подходе «со стороны», который позволяет им приближаться к нерешенным проблемам жизни, к «Иному» и к «неизвестному». Такой метод дает им возможность развивать творчество в двух разных плоскостях и приводит их, с одной стороны, к сатирическому изображению пороков жизни и быта (как, например, Монтескьё в своих «Персидских письмах»), с другой же, — к углублению общественно-философской проблематики: они стараются проникнуть в суть явлений, познать их причинность, а иногда и наметить определенные решения.

---

[15]) С. Лем. Куда идешь, мир? «Иностранная литература», № 1, 1967.

[16]) З. Файнберг. «Литературная газета», № 38 за 1969 г.

[17]) А. и Б. Стругацкие. «Литературная газета» № 6 за 1970 г.

Начнем с рассмотрения сатирической стороны этих произведений.

Часто в повестях и рассказах встречается обличение диктаторского строя, гораздо чаще, чем у западных фантастов. Как правило, в произведениях такого рода прямо говорится или указывается характерной деталью, что речь идет (на планете такой-то или в эпоху такую-то...) о режиме фашистского типа. Молодежь, например, разгуливает в коричневых или черных рубашках, громко поет на улицах бравые солдатские песни и т. д. Но в дальнейшем изложении авторы обычно этими деталями отнюдь не ограничиваются, и очень скоро становится ясно, что обличение касается не только фашизма, но и иных диктатур, идеологически ему весьма враждебных.

Диктатура, в первую очередь, предполагает существование диктатора. Типы диктаторов различны. Один из них, например, личность, господствующая безраздельно, обожающая произносить речи, претендующая на роль корифея всего человеческого знания и бога войны. Усы — желательны, но не обязательны; нервные припадки и облик, чем-то напоминающий кота, — тоже. Для читателя — диктатор всегда смешон, для подвластного — всегда страшен... Вот несколько образцов:

На планете Аномалия, в самой большой, но отнюдь не в самой развитой стране Огогондии жил-был диктатор Дино Динами.

«Для каждого запрета Динами находил объективные причины, а любую отмену запретов объяснял исключительно личным стремлением сделать приятное своему народу. И чем хуже огогондцы жили, тем больше они любили Дино»[18]).

---

[18]) В. Бахнов. Как погасло солнце, или История Тысячелетней Диктатории Огогондии, которая существовала 13 лет, 5 месяцев и 7 дней. «Фантастика, 1968 год», стр. 197.

Дино Динами — гостеприимен, и счастливую Огогондию посещают иностранные туристы:

«Господа иностранные туристы! — профессионально бодрым голосом выкрикивал гид в то время, как экскурсанты мерно покачивались в уютных креслах. — Мы проезжаем сейчас по залитой солнцем древней столице Великой Диктатории Огогондии. Пусть вас не удивляет, господа туристы, что в нашем автобусе нет окон. Благодаря свойственному нам гостеприимству иностранцам разрешается свободно передвигаться по улицам столицы. Но из соображений государственной безопасности запрещается на эти улицы смотреть. Однако это не страшно. Поверьте мне, я лично буду рассказывать вам самым подробнейшим образом обо всех городских достопримечательностях, мимо которых нам доведется проезжать. Вот сейчас, — и гид одним глазом заглянул в специальное, величиной в замочную скважину, смотровое отверстие, — вот сейчас мы едем по бульвару, носящему имя нашего Великого Дино Динами. Ах, ах, какой красивый бульвар! А теперь мы проезжаем Диносквер, пересекаем площадь Динами и выезжаем на самую длинную в мире Дина-Динамьевскую улицу»[19]).

Великие державы Аномалии разделили между собой все планеты системы, Огогондии же осталось одно солнце. Дино этим недоволен и произносит речь перед собравшимися учеными Огогондии.

«Конечно, до планет раньше, чем через двести лет, тоже никто не доберется. Но дело не в этом. Дело в принципе. (Аплодисменты). Я терпеть не могу исторической несправедливости и никому не позволю обижать мой горячо любимый народ. (Бурные аплодисменты). Себе, понимаете, планеты, а нам, понимаете, Солнце. Ишь, жулики! (Смех)»[20]).

Властелин Огогондии любит искусство. Определенное, разумеется.

---

[19]) В. Вахнов. Как погасло солнце... «Фантастика, 1968 год», стр. 197-198.

[20]) Там же, стр. 199.

«...Монумент состоял из трех частей: глыба, на глыбе — лев, на льве — Дино Динами, одобрительно рассматривающий свой занимающий всю стену портрет. А изображенный на огромном портрете Попечитель с доброй улыбкой и нежностью взирал на каменного всадника. И было ясно, что портрет и монумент весьма довольны друг другом»[21]).

Каждое слово Попечителя ценно для отечества:

«Давным-давно, еще в первые годы своего попечительства, Дино создал Комитет по углублению и толкованию своих высказываний. Работа членов Комитета напоминала состязание опытных искателей жемчуга: кто глубже нырнет и вытащит больше перлов.

Нужно отметить, члены Комитета настолько овладели искусством толкования и углубления, что даже в таких кратких высказываниях Дино, как «М-да» или «Ну, ну»... легко находили стройную философскую концепцию...»[22]).

На планете Торманс диктатор Чойо Чагас — менее живописная и более мрачная фигура.

«Он чувствовал ту безнадежную пустоту вокруг себя, которая неизбежно образуется, когда из окружения устраняют или отстраняют порядочных людей, всегда несогласных с несправедливостью. Неумолимо идет процесс замены их ничтожествами и невеждами, готовыми восхвалять любые поступки владыки. Советники, охрана — все это человеческая дрянь. Верность их обеспечивается лишь подачками и привилегиями. Друзей нет, душевной опоры ни в ком, все чаще подступает страх перед возможным заговором.

Гребенка террора время от времени прочесывала массы..., сановников..., ученых..., оставляя неизгладимый ужас. Боязнь ответственности лишала людей инициативы. Боязнь любого

---

[21]) В. Бахнов. Как погасло солнце... «Фантастика, 1968 год», стр. 216.

[22]) Там же, стр. 235.

риска и подыскивание оправданий на все случаи жизни было едва ли не главным в работе этих людей»[23]).

Но не для всех диктаторов характерно во что бы то ни стало стремиться к утверждению своего я. Для некоторых важна сама реальность власти, а не ее внешние формы и проявления. Дино Динами, например, относился к разряду последних.

«Всех умиляло, что Величайший из Великих — такой, как все, и носит такую же бородку, как любой огогондский мужчина старше двадцати пяти лет»[24]).

Дино Динами любит, чтоб его величали «самым равным среди равных». Диктаторам зачастую присуща «скромность» в личной жизни.

«Личная жизнь Совета Четырех всегда была скрытой. Считалось, что эти сверхлюди вообще не снисходят до столь житейских дел, как женитьба...»[25]).

Диктатор не обязательно должен быть известен. Он может быть и анонимным.

«Какой-то очередной тиран, видимо, напал на мысль, что личная анонимность, при существующей системе управления, будет выгоднее.

Общество, не имея возможности сконцентрировать сопротивление, направить враждебные чувства на конкретную особу, становится в какой-то мере как бы разоруженным»[26]).

На одной из планет, например, диктаторы — так называемые Неизвестные Отцы. Одна из политических групп захватила власть в свои руки, воспользовавшись разрухой и трудностями после проигранной войны.

---

[23]) И. Ефремов. Час Быка. «Молодая гвардия», № 3, 1969 г.

[24]) В. Бахнов. Как погасло солнце... «Фантастика, 1968 год», стр. 198.

[25]) И. Ефремов. Час Быка. «Молодая гвардия», № 2, стр. 51, 1969.

[26]) С. Лем. Эдем. «Звезда», № 10, стр. 146, 1966.

«Здешний мир висит на волоске, все шатко, призрачно, эфемерно, не на что надеяться, не на что опереться, и вот появляются Неизвестные — опора, надежда, устойчивость, обещание жизни... Отказаться от них, усомниться в них означает потерять твердь под ногами, повиснуть в зловещей пустоте...[27]).

Неизвестные Отцы — анонимны для своих подданных. Граждане думают, что власть принадлежит безраздельно и равно всем Отцам. Но это — обман. Среди Неизвестных Отцов есть главный — «Папа». Между собой они все на «ты», именуют друг друга ласкательно: Умник, Головастик, Дергунчик, но все боятся Папы и не доверяют друг другу. Любимое их занятие — подкапывание под ближайшего вышестоящего... Но они понимают, что режим может держаться только, если население ничего не будет знать об их интригах друг против друга, и мусора из избы они не выносят[28]).

Однако строй диктатуры, открытый или коллективно-анонимный, включает в себя отнюдь не только диктатора (или диктаторов). У него два столпа утверждения: система террора с концлагерями и бюрократия.

Население диктаторской или тоталитарной страны делится на три основные категории: первая — те, кто сажают, вторая — те, кто сидят, третья — те, кто будут сидеть.

Начнем с нескольких характеристик первой.

«Легионеры, мы — опора и единственная надежда государства в это трудное время. Только на нас могут без оглядки положиться в своем великом деле Неизвестные Отцы... Хаос, рожденный преступной войной, едва миновал. но последствия его тяжко ощущаются до сих пор.

Легионеры-братья! У нас одна задача: с корнем вырвать все то, что влечет нас назад, к хаосу. Враг на наших рубежах

---

[27]) А. и Б. Стругацкие. Обитаемый остров. «Нева», № 4, стр. 126, 1969.

[28]) Там же, № 5.

не дремлет... Но никакие усилия армии не приведут к цели, если не будет сломлен враг внутри. Сломить врага внутри наша и только наша задача, легионеры»[29]).

Подследственный обращается к молодому, неопытному работнику органов безопасности:

«Вы еще молодой человек. Все архивы после переворота сожгли, и вы даже не знаете, до чего вы все измельчали. Это была большая ошибка — уничтожать старые кадры: они бы вас научили относиться к своим обязанностям спокойно. Вы слишком эмоциональны. Вы слишком ненавидите. А вашу работу нужно делать по возможности сухо, казенно — за деньги. Это производит на подследственного огромное впечатление. Ужасно, когда тебя пытает не враг, а чиновник. Вот посмотрите на мою левую руку. Мне ее отпилили в доброй довоенной охранке, в три приема, и каждый акт сопровождался обширной перепиской. Палачи выполняли тяжелую, неблагодарную работу, им было скучно, они пилили мою руку и ругали нищенские оклады. И мне было страшно»[30]).

В прокурорской работе залог успеха —методика.

«Прошлое этого человека туманно. И это, конечно, неважное начало для знакомства. Но мы с вами знаем не только, как из прошлого выводить настоящее, но и как из настоящего выводить прошлое... Это называется экстраполяцией»[31]).

У представителей первой категории, т. е. тех, кто сажает, существует тенденция представителей второй категории не считать людьми.

Земляне на одной из планет допрашивают пойманного концлагерного охранника.

«— Сколько стражников в лагере?

---

[29]) А. и Б. Стругацкие. Обитаемый остров. «Нева», № 3, стр. 118, 1969.

[30]) Там же, № 4, стр. 91.

[31]) Там же, № 5, стр. 115.

— Два десятка.

— Сколько людей в хижинах?

— В хижинах нет людей.

...— Кто живет в хижинах?

— Преступники.

— А преступники не люди?

На лице (охранника — Д. Р.) изобразилось искреннее недоумение. Вместо ответа он нерешительно улыбнулся»[32]).

Конечно, взгляд на заключенных самого писателя обычно иной.

«Минут через десять он увидел вторую заставу. Это был аванпост огромной армии клетчатых рабов, а может быть, и не рабов как раз, — а самых свободных людей в стране»[33]).

Фантасты — люди с богато развитым воображением, они не ограничиваются простым описанием концлагерников и концлагерей земного типа.

На далекой планете Ñ процветает концлагерь. На первый взгляд, всё, как обычно: изнурительные работы в трудных условиях; заключенный расценивается лишь как средство добычи руды.

«Родине нужен уран. Каждому заключенному дано задание, поэтому его жизнь котируется наравне с драгоценной рудой»[34]).

Люди теряют человеческий облик, погружаются в беду с головой и сердцем.

«Рядом со спальным местом Арна появился этот странный тип. Какой-то чокнутый. Вчера за обедом отдал Арну половину своего хлеба. «На, — говорит, — а то скоро штаны будешь те-

---

[32]) А. и Б. Стругацкие. Попытка к бегству. «Фантастика, 1962 год», стр. 233.

[33]) А. и Б. Стругацкие. Обитаемый остров. «Нева», № 5, стр. 111, 1968.

[34]) И. Варшавский. Побег. «Фантастика, 1968 год», стр. 81.

рять на ходу». Ну и чудило! Отдавать свой хлеб, такого еще Арну не приходилось слышать. Наверное, ненормальный»[35]).

Этот человек предлагает Арну бежать из лагеря по поручению Комитета Освобождения, вручает ему яд на случай неудачи.

«Зажатая в кулаке таблетка дает ему чувство собственного могущества. Теперь тюремщики потеряли над ним всякую власть. С этой мыслью он засыпает...»[36]).

Побег удался. Арн попадает на «эвакопункт» Комитета. Там всех беглецов кормят, одевают, подбадривают, обещают им свободный труд в безопасности. Их усыпляют ...и тут выясняется, что весь побег и его последствия лишь инсценировка, чтоб перевести заключенных на еще более тяжкий труд.

«Основное же — предварительная психологическая настройка. Имитация побега, мнимые опасности — всё это создало в них ощущение свободы, завоеванной дорогой ценой. Трудно предугадать, какие колоссальные резервы организма могут пробуждаться высшими эмоциями»[37]).

Третья категория граждан — потенциальные заключенные — обычно дают себе отлично отчет в том, что их ожидает.

«— Будьте откровенны со мной, Жаэль. Чем грозят вам, что стоит за плечами у вас и, очевидно, у каждого жителя Ян-Ях?

— Смотря по провинности. Если нарушу обязательство доносить, то ждет изгнание. Придется ехать куда-нибудь в далекий город, потому что в столице не будет для меня работы.

— А если обнаружится, что вы воспользовались общением с нами, чтобы передавать своим друзьям нашу информацию (говорит представительница землян. — Д. Р.)?

---

[35]) И. Варшавский. Побег. «Фантастика, 1968 год», стр. 82.

[36]) Там же, стр. 88.

[37]) Там же, стр. 91.

— Обвинят в государственной измене. Арестуют, будут пытать, чтобы я выдал участников. Тех будут пытать в свою очередь, они выдадут остальных и еще несколько сот непричастных, просто, чтоб избавиться от невыносимых мук. Затем всех уничтожат.

— ...На что же вы надеетесь?

— На свою слабость. Палачи сначала крушат человека физически. Вторая ступень — психическая ломка. Я погибну на первой ступени, и они не добьются ничего»[38]).

Если работники госбезопасности — мышцы и кулаки тоталитарного режима, остов его — бюрократия.

Для чиновника начало нача́л — место. Оно определяет все его житейские отношения: внешнее почтение и скрытую зависть к вышестоящим, тиранство по отношению к нижестоящим и глубокое презрение к нечиновникам. Чиновник боится всякого риска, но тянется к повышению, часто очень рискованному, отстраняет все моменты, мешающие достижению цели (например, совесть и «неясность»), и старается не отличаться во взглядах от остальных чиновников того же уровня.

Государственный прокурор получил повышение:

«А ведь жалко будет, пожалуй, уходить отсюда — нагрел местечко за десять лет. И зачем мне уходить? Странно устроен человек: если перед ним лестница, ему обязательно надо вскарабкаться на самый верх. На самом верху холодно, дуют очень вредные для здоровья сквозняки, падать оттуда смертельно, ступеньки скользкие, опасные, и ты отлично знаешь это и все равно лезешь, карабкаешься — язык на плечо. Вопреки обстоятельствам — лезешь, вопреки собственным инстинктам, здравому смыслу, предчувствиям — лезешь, лезешь, лезешь...

Тот, кто не лезет вверх, тот остается внизу, это верно. Но тот, кто лезет вверх, падает туда же — вниз...»[39]).

---

[38]) И. Ефремов. Час Быка. «Молодая гвардия», № 3, стр. 108-109, 1969 г.

[39]) А. и Б. Стругацкие. Обитаемый остров. «Нева», № 5, стр. 90, 1969.

«Каждая ступень в иерархии Торманса выражалась в каком-либо мелком преимуществе — в размерах квартиры, в лучшем питании. Эвиза с удивлением наблюдала, с каким ожесточением люди боролись за эти ничтожные привилегии. Особенно старались пробиться в высший слой сановников, стать «змееносцами», где привилегии возрастали до максимума. В ход пускались и обман, и клевета, и доносы. Подкупы, рабское усердие и звериная ненависть...»[40]).

Над обрывом, у края волшебного и таинственного леса, стоит Управление — концентрат чиновничьей тупости и бездарности. Если лес — образ будущего, неизвестного, неясного, образ самой жизни со всеми ее противоречиями, то правление и его служащие — образ близорукого, невежественного и ненавистнического подхода к противоречиям жизни.

«Невежество испражняется в лес. Невежество всегда на что-нибудь испражняется»[41]).

Вот набор высказываний, рисующих образ типичного чиновника Управления — искоренителя (!) Домарощинера:

«Мое отношение к лесу определяется моим служебным долгом... Человеку вообще нельзя сидеть на краю обрыва... Полная ясность может существовать лишь на определенном уровне... и каждый должен знать, на что он может претендовать. Я претендую на ясность на своем уровне, это мое право... а там, где кончаются права, там начинаются обязанности»[42]).

«Тебе (говорят искоренителю — Д. Р.) если по морде вовремя не дать, ты родного отца в бетонную площадку превратишь для ясности»[43]).

---

[40]) И. Ефремов. Час Быка. «Молодая гвардия», № 3, 149, 1969.

[41]) А. и Б. Стругацкие. Улитка на склоне. «Байкал», № 1, стр. 38, 1968.

[42]) Там же, стр. 38-39.

[43]) Там же, стр. 41.

Современному тоталитарному государству и тем более тоталитарному государству будущего высококвалифицированные ученые и интеллигенция столь же необходимы, как солдаты или полицейские. Их положение в тоталитарном обществе двоякое. С одной стороны, они находятся в привилегированном материальном положении, имеют доступ к книгам и иным источникам информации, запрещенным для прочих слоев населения. С другой стороны, они, именно в силу своей частичной привилегированности, особенно болезненно переживают условия того интеллектуального гнета, в котором им приходится работать. Часто в них уживаются наравне чисто умозрительные оппозиционные настроения с карьеризмом и пресмыканием перед сильными века сего. Ко всему этому, интеллигенция, как правило, ненавистна низшим слоям населения, которые отлично сознают ее роль в поддержке и укреплении режима террора и несоответствие между ее идеями и ее образом жизни.

Земляне прилетают на планету, носящую следы недавно процветавшей культуры. Жителей не видно. Со временем земляне обнаруживают, что жители планеты сами истребили себя, а те немногие, что уцелели, должны жить в подземельях. Оказалось, что правители планеты поручили ученым разработать способ превращения части населения в рабов, и те изобрели биологическое средство (вирус «глег»), давшее возможность лишать людей воли. Но ученые потеряли контроль над процессом.

«— Значит, они сами это и придумали? Сами напустили на себя глегов, от которых спрятались под землю?

— Да, вывели глегов в своих чертовских лабораториях, кормили их, воспитывали, обучали, что им делать в организме, куда селиться. Думали, что договорились с глегами, — и выпустили духа из бутылки!»[44]).

---

[44]) А. Громова. Глеги. «Фантастика, 1962 год», стр. 357.

Правители, заметив, что дело ученых пошло вкривь и вкось, заразили глегами самих ученых, избавились таким образом от интеллигенции и снова укрепили свою власть.

«А может быть, правителям было выгодно, чтоб люди боялись? Может, правители нарочно загнали народ под землю, чтоб выбить из него мысль о восстании?»[45]).

На планете Аномалии ученые не лишены значения для властителей Великих Диктаторий. Планеты распределяются между державами:

«— Ну что ж, — ответил Попечитель Потрясалии, — можно будет, если возникнет такая необходимость, поручить астрономам открыть еще пару планет.

— Но ведь планеты по приказу не открываются!

— Вы думаете? Н-да, подраспустили вы своих ученых...»[46]).

Правитель часто поддерживает противоречивые направления в научных поисках ученых и пользуется их ожесточенными спорами и ненавистью. Это не очень устраивает карьеристов.

«Сидящий в задних рядах молодой ученый Комангенс, с преданным обожанием глядя на Попечителя, думал: «Сегодня, сейчас вот, наконец-то выяснится, на чьей стороне Дино и правильно ли я сделал, став конструктарием. Прогадал я или не прогадал?»[47]).

На планете Торманс положение интеллигенции сложное. У нее много льгот, но куплены они очень дорогой ценой.

«Когда объявляют себя единственно — и во всех случаях — правым, это автоматически влечет за собой истребление всех

---

[45]) А. Громова. Глеги. «Фантастика, 1962 год», стр. 359.

[46]) В. Бахнов. Как погасло солнце. «Фантастика, 1968 год», стр. 190.

[47]) Там же, стр. 200.

открыто инакомыслящих, то есть наиболее интеллигентной части народа»[48]).

Вражда между «джи» (интеллигенцией) и «кжи» (народом) поддерживается властью.

«Разрыв между «джи» и «кжи» — основной стержень олигархии. Они не могут обойтись без тех и без других, но сами существуют лишь за счет их разобщения. «Кжи» и «джи» одинаково бьются в крепчайшей клетке, созданной усилиями обоих классов. Чем сильнее они враждуют, тем прочнее и безвыходнее клетка»[49]).

На ученых лежит огромная ответственность за общество. Диктатор Торманса это хорошо знает.

«Ученые — обманщики, трусы и ничтожные прислужники. Во многих поколениях они обманывали правителей и народ Ян-Ях, и насколько я знаю, то же было в старину на Земле. Они обещали, что планета сможет прокормить неограниченное количество людей, и совершенно не учли, что земля истощится задолго до назначенной ими предельной цифры. Не учли вреда химических удобрений, отравивших растения и почвы, не учли необходимости определенного жизненного пространства для каждого человека. Не понимая всего этого, они не постеснялись выступить с категорическими заключениями. И в результате вызвали страшную катастрофу. Восемьдесят лет Голода и Убийств! Правда, за ошибки и наглость они расплатились. Тысячи ученых повесили вниз головами на воротах городов или перед их научными институтами. Ученые всегда обманывали нас, владык, и особенно математики и физики, в реальных успехах которых никто, кроме них самих, не мог разобраться. Так поступали жрецы и маги Земли. Нет, я не

---

[48]) И. Ефремов. Час Быка. «Молодая гвардия», № 3, стр. 112, 1969.

[49]) Там же, стр. 114.

люблю ученых. Мелкие, тщеславные люди, избалованные легкой жизнью, а думают, что они знают тайны судьбы!»[50]).

Группа «кжи» нападает на известного писателя и его избивает. За что? — спрашивает их представитель Земли.

«За то, что он бумагомаратель. Эти проклятые писатели-холуи выдумывают небылицы о нашей жизни, перевирают историю, доказывая величие и мудрость тех, кто им разрешает жить подольше и больше платит. За одну фразу в их писанине, понравившейся владыкам, приходится расплачиваться всем нам. Таких мало бить, их надо убивать»[51]).

К великому удивлению землян, избиение знаменитого писателя ни у кого сострадания не вызывает...

Один из землян попадает на собрание научной интеллигенции.

«К удивлению астронавигатора, присутствующие вели себя непринужденно и высказывались довольно резко... Лишь позднее до него дошла психологическая тонкость политики Чойо Чагаса: пусть выговариваются, — они все равно не могут не думать о положении общества, — пусть разражаются пустыми речами, зато не будут создавать конспиративных организаций, борьба с которыми привела бы к нежелательным изъятиям из среды ценных для государства интеллигентов[52]).

...Ученые владыкам помогали во всем: изобретать страшное оружие, яды, фальсификаты пищи и развлечений, путая народ хитрыми словами, искажая правду. Отсюда — укрепившаяся в народе ненависть и недоверие к ученым, стремление оскорбить, избить, а то и просто убивать «кжи», как прислужников угнетателей. «Кжи» не понимают их языка, одинаковые

---

[50]) И. Ефремов. Час Быка. «Молодая гвардия», № 3, стр. 124-125, 1969.

[51]) Там же, стр. 154.

[52]) Там же, № 4, стр. 155.

слова у них означают совершенно не то, что у рабочего класса Ян-Ях[53]).

...Вир Норин достаточно изучил ученый мир Торманса и знал, как последовательно проводилось в нем разделение привилегий, начиная от размеров жилища и кончая получением особо хорошей, нефальсифицированной и свежей пищи со складов, снабжавших самих «змееносцев» (высших чиновников — Д. Р.). Пожалуй, из всех несуразностей общества Ян-Ях Вира Норина больше всего удивляло, как могли продавать себя самые могучие умы планеты. Вероятно, во всем остальном, кроме их узкой профессии, они вовсе не были могучими, эти талантливые обыватели»[54]).

Просмотром социальных слоев общества и их взаимоотношений в «фантастических диктатуриях» ограничиться нельзя. Нужно попытаться выявить более глобальные характеристики этих обществ и понять суть отношений между народом и властью.

На планете Эдем, где высоко развита биохимия, были проведены неудачные эксперименты, породившие десятки тысяч изувеченных мутантов. Правительству пришлось принять две меры. Во-первых, позаботиться, чтобы из истории вычеркнули все сведения о неудавшемся плане «биологической реконструкции», во-вторых, избавиться от увечных и сомневающихся в истине официальной истории. Это было сделано своеобразно: концлагеря были заменены научно подобранными группами из нежелательных лиц, которые находились в полной изоляции, но были лишены всякого надзора:

«Может быть, они имеют специальную научную дисциплину — «прокрустику», теорию динамики таких групп! Заранее планируется тип действий, конфликтов и взаимных притяжений в ее сфере, функции распределены и запланированы так,

---

[53]) И. Ефремов. Час Быка. «Молодая гвардия», № 4, стр. 155, 1969.

[54]) Там же, стр. 215.

чтобы образовалось своеобразное равновесие, обмен, циркуляция гнева, ненависти, чтоб эти чувства объединяли их, и одновременно чтобы они не могли найти общего языка с кем-нибудь вне группы...»[55]).

Одна из основных опор общества (отнюдь не только тоталитарного) — рутина. Порой она страшней и бесчеловечней террора. У Стругацких эта тема встречается часто. В рассказе «Попытка к бегству»[56]) человека, протестующего против власти, называют «желающим странного».

Землянин Максим попадает на далекую планету «Обитаемый остров» и понемногу знакомится с ее общественным строем, с ее историей. Мы об этом произведении уже говорили выше, теперь проследим путь Максима к раскрытию правды об этом не весьма симпатичном мире. После трудной войны группка анонимных диктаторов захватила власть и навела в стране относительный порядок, обеспечив населению прожиточный минимум.

«Максим понял, что политическое устройство страны весьма далеко от идеального и представляет собой некую разновидность военной диктатуры. Однако ясно было, что популярность Неизвестных Отцов чрезвычайно велика, причем во всех слоях общества»[57]).

Новые правители укрепили свою власть устройством системы ПБЗ, позволяющей при помощи многочисленных башен, покрывающих страну, защищаться от баллистических атак противников, которые внутри страны поддерживаются выродившимися жителями — «выродками», наймитами иностранных держав. Выродки подлежат искоренению.

---

[55]) С. Лем. Эдем. «Звезда», № 10, стр. 144, 1966.

[56]) А. и Б. Стругацкие. Попытка к бегству. «Фантастика, 1962 год», стр. 238.

[57]) А. и Б. Стругацкие. Обитаемый остров. «Нева», № 3, стр. 124, 1969.

Понемногу выясняется, что

«главное в выродках то, что они выродки. Отними у них это свойство, и все остальные обвинения против них — предательство, людоедство и прочее — превращаются в чепуху»[58]).

Попав к выродкам, которые оказались борцами против режима, Максим узнает, что башни системы ПБЗ — по сути дела излучители, очень болезненно действующие на мозг выродков, при помощи которых власть их и вылавливает. Но и это — только полуправда.

«Излучение башен предназначалось не для выродков. Оно действовало на нервную систему каждого человеческого существа на планете. Физиологический механизм воздействия известен не был, но суть этого воздействия сводилась к тому, что мозг облучаемого терял способность к критическому анализу действительности. Человек мыслящий превращался в человека верующего, причем верующего исступленно, фанатически, вопреки бьющей в глаза реальности. Человеку, находящемуся в поле излучения, можно было самыми элементарными средствами внушить всё, что угодно, и он принимал внушаемое как светлую и единственную истину и готов был жить для нее, страдать за нее, умирать во имя ее.

А поле было всегда. Незаметное, вездесущее, всепроникающее. Его непрерывно излучала гигантская сеть башен, окутывающая страну. Гигантским пылесосом оно втягивало из десятков миллионов душ всякое сомнение по поводу того, что кричали газеты, брошюры, радио, телевидение, что твердили учителя в школах и офицеры в казармах, что сверкало неоном поперек улиц, что провозглашалось с амвонов церквей...

Опасность для Отцов могли представлять только люди, которые в силу каких-то физиологических особенностей не были восприимчивы к внушению. Их называли выродками. Постоянное поле на них не действовало вообще, а лучевые удары вы-

---

[58]) А. и Б. Стругацкие. Обитаемый остров. «Нева», № 4, стр. 98, 1969.

зывали у них только невыносимые боли. Выродков было сравнительно мало, что-то около одного процента, но они были единственными бодрствующими людьми в этом царстве сомнамбул...

И самое гнусное заключалось в том, что именно они поставляли обществу правящую элиту, называемую Неизвестными Отцами. Все Неизвестные Отцы были выродками, но далеко не все выродки были Неизвестными Отцами. И те, кто не сумел войти в элиту, или не захотел войти в элиту, или не знал, что существует элита, — выродки-властолюбцы, выродки-революционеры, выродки-обыватели — были объявлены врагами человечества, и с ними поступали соответственно»[59]).

Выше мы уже касались некоторых характеристик общества планеты Торманс, в частности, разделения ее жителей на два класса — интеллигенцию и народ, вражда которых поддерживается правителями. Но этим дело не ограничивается: путем цензуры, которой подвергается информация, искусство и история, посредством демагогии и пропаганды диктаторы не только отвлекают народ от злободневной проблематики, но и крепко подчиняют его себе.

«— Владыки Ян-Ях не разрешают никому изучать так называемые запретные периоды истории.

— Невероятно (удивляется землянка — Д. Р.)! Мне кажется, тут какое-то недоразумение. А пока познакомьте меня хотя бы с той историей, какая разрешена, но только с точными экономическими показателями и статистическими данными вычислительных машин.

— Данные вычислительных машин никому не показываются и ранее не показывались. Для каждого периода они обрабатываются специальными людьми в секретном порядке. Обна-

---

[59]) А. и Б. Стругацкие. Обитаемый остров. «Нева», № 5, стр. 106-107, 1969.

родовалось только позволенное... Каждый период правители старались представить таким, каким хотели[60]).

...Чтобы не возникали мечты о прошлом, об ином мире, подтачивающие устои нашей жизни, человек не должен знать о прошлом, искать в нем силу. Это дает ему убеждения и идеи, несовместимые с подчинением власти. Историю надо срезать от корня...»[61]).

Одно из самых верных средств политики — демагогия:

«Надо применять старый, как наш земной мир, прием — восхвалять их (народ — Д. Р.). Кричите им, что они велики, прекрасны, храбры и умны, и они позволят вам всё. Но попробуйте назвать их тем, что они есть на самом деле: невеждами, глупцами, тупыми и беспомощными ублюдками, и рев негодования заглушит любое разумное обращение к ним, хотя они живут всю жизнь в унижении куда худшем[62]).

...Неудобства жизни вызвали миллионы ненужных столкновений между людьми, где каждый был по-своему прав, а виновато общественное устройство планеты, заставившее людей барахтаться в повседневных неприятностях, для устранения которых никто ничего не делал. Тормансиане не руководствовались ни моралью, ни религиозными правилами, не говоря уже о высшей сознательности. Начисто отсутствовала постоянная, строгая и разработанная во всех аспектах система воспитания людей как членов общества ... Очевидно, в дальнейшем при той же системе управления будет всё меньше доброжелательности и терпимости, всё больше злобы, насмешек и издевательств, свойственных скорее стаду павианов, чем технически развитому человеческому обществу.

Больше двух тысяч лет назад некоторые нации на земле верили, что политические программы, будучи примененными к

---

[60]) И. Ефремов. Час Быка. «Молодая гвардия», № 2, стр. 57, 1969.

[61]) Там же, стр. 69.

[62]) Там же, стр. 100.

экономике тоталитарной властью, могут изменить ход истории без предварительной подготовки психологии людей. Не умея улучшить судьбу народов, догматики очень сильно влияли на судьбы отдельных личностей[63]).

...Старинные песни, любимые старшим поколением «джи», содержат излишние воспоминания о прошлом и тоже вызывают грусть. Поэтому одобрение властей получают только бодрые, восхвалительные и, конечно, бездарные песни[64]).

...Столкновения и насилие стали основой, содержанием всякого произведения здешнего искусства. Без этого жители Торманса не проявляют интереса к книге, фильму... или картине. Правда, есть одно условие. Всё ужасное, кровь и страдания должны или относиться к прошлому, или изображать столкновения с вторгнувшимися из космоса врагами. Настоящее было принято изображать спокойным и невероятно счастливым царством под мудрой властью владык. Только так, и не иначе! Для тормансианина искусство, относящееся к сегодняшнему дню, лишено всякого интереса. Глухая скука расползается от этого искусства по всей планете...[65])

...Воры не так страшны, они ограничиваются кое-какими вещами. Куда опаснее «Глаза Владыки» (члены органов госбезопасности — Д. Р.). Они подбирают ключи, шарят по квартирам в надежде найти запрещенные книги, песни, личные дневники, письма[66]).

...Владыки постоянно твердят вам о необходимости защищать народ. «От кого?» — задавались ли вы таким вопросом? Где они, эти мнимые враги? Призраки, с помощью которых заставляют вас жертвовать всем и, самое худое, подчиняют себе вашу психику, направляя мысли и чувства по ложному пути[67]).

---

[63]) И. Ефремов. Час Быка. «Молодая гвардия», № 3, стр. 135-136. 1969.

[64]) Там же, стр. 146.

[64]) Там же, стр. 145

[65]) Там же, стр. 145.

[66]) Там же, стр. 153-154.

[67]) Там же, № 4, стр. 210.

.Чеди с Эвизой объяснили спутникам обычай скрывать от народа все чрезвычайные происшествия, тем более, если случалось что-нибудь «наверху», как в просторечии звалась олигархическая верхушка[68]).

...Вы не представляете, сколько накопилось у нас человеческой дряни за много веков истребления лучших людей, когда преимущественно выживали мелкодушные приспособленцы, доносчики, палачи, угнетатели!»[69]).

Этой цитатой мы и ограничимся. Картины мироустройства на Обитаемом Острове и на Тормансе получаются стройные. Фантастичность ситуаций незначительна. Описаны явления, хорошо известные землянам XX столетия, особенно немцам и русским. Гораздо фантастичней кажется в романе «Час Быка» картина будущего коммунистического земного рая, но автора в этом упрекать трудно, ибо, как известно всем опытным диалектикам, — правда выявляется в противоречиях, а, как известно всем опытным моралистам, — картина реального зла ярче воспринимается в сопоставлении с картиной утопического добра...

(Окончание следует)

---

[68]) И. Ефремов. Час Быка. «Молодая гвардия», № 4, стр. 237.

[69]) Там же, стр. 239.

Вл. Н. Павлов

ИСТОРИОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА

Осип Мандельштам остро ощущал историю. Подобно многим символистам, особенно Брюсову и Вячеславу Иванову, акмеистам Гумилеву и Кузмину, Мандельштам избрал историю главным источником своей поэзии. Поэт чувствовал необходимость «жить исторически». Поэтому в своей статье «О природе слова» (1922 г.), Мандельштам писал[1]):

«Все кругом подается, все рыхло, мягко и податливо. Но мы хотим жить исторически, в нас заложена неодолимая потребность найти твердый орешек Кремля, Акрополя, все равно как бы ни называлось это ядро, государством или обществом».

В истории Мандельштам предпочитал извечные темы Греции и Рима. Монументальный характер искусства поэта направлял его искать вневременное в историческом. Классические мотивы и, прежде всего, мотивы эпоса классической Греции постоянно встречаются в поэзии Мандельштама. Если же они не становились главной темой данного стихотворения, то зачастую так причудливо переплетались с подлинным миросозерцанием поэта, что пронизывали собой всё его произведение. Таков характер многих стихотворений Мандельштама, появившихся в его первом стихотворном сборнике «Камень» (1913 г., второе дополненное изда-

---

[1]) Осип Мандельштам. Собрание сочинений в трех томах под редакцией проф. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Т. II, стр. 290. «Международное литературное содружество». Нью-Йорк, 1966.

ние — в 1916 г.) и во всем поэтическом цикле его второго сборника «Tristia» (1922 г.).

Но Рим не всегда становился составной частью классической темы, скорее лишь затрагивался, так как для Мандельштама он был не только прекрасным итальянским городом и не только древней Империей, но в первую очередь символом универсальности, символом человеческого гения, пронизавшего собой все эпохи европейской культуры. Г. П. Струве указывает на то, что итальянские образы и мотивы часто заметны даже в тех стихах, которые не имеют прямого отношения к Италии. Эти образы и мотивы возникали из историософских взглядов поэта[2]). В одном из стихотворений, написанных в 1914 году, сама природа отожествляется с Римом[3]).

Природа — тот же Рим и отразилась в нем.

В другом стихотворении того же года Мандельштам говорит[4]):

...Не город Рим живет среди веков,
А место человека во вселенной.

Им овладеть пытаются цари,
Священники оправдывают войны,
И без него презрения достойны,
Как жалкий сор, дома и алтари.

В этих строках символика вселенского христианского Рима достигает своего апогея.

---

[2]) Г. П. Струве. Итальянские образы и мотивы в поэзии Осипа Мандельштама. См. «Studi in onore di Ettore Lo Gatto e Giovanni Maver», стр. 604-606. Рим, 1962.

[3]) О. Мандельштам. Собр. соч. Т. I, стр. 40.

[4]) Там же.

В них же можно усмотреть органическую связь между темами Рима классического и Рима религиозного. Существует также безусловная связь между мандельштамовской символикой Рима и его страстным интересом в те годы (особенно в 1913-1916 гг.) к католицизму и к Чаадаеву — первому подлинному представителю русской историософии. Герцен определил историософские взгляды Чаадаева как революционный католицизм.

Согласно Чаадаеву, история определяется в первую очередь развитием идей; идея Бога наиболее совершенно была выражена в христианстве, которое сохранило свою истинную духовность в римском католицизме, предоставив тем самым Западной Европе возможность развить богатую интеллектуальную жизнь; византийское же наследие России привело ее к отделению от Запада; поэтому Россия, не испытав феодализма, Возрождения и Реформации, не имеет истории.

Мандельштам, однако, не разделял взглядов Чаадаева, что Россия принадлежит к группе явлений неорганизованного и неисторического типа. Он считал, что Чаадаев не принимал во внимание русский язык, столь высоко организованный и столь удивительно органичный, что сам по себе он уже является не только дверью в историю, но и самой историей[5]).

В 1915 г. в журнале «Аполлон» появилась статья Мандельштама «Чаадаев». В ней поэт приходит к мысли, что нравственная свобода, которую Чаадаев нашел только в России и принес на Запад, оказалась необходимым дополнением к европейской культуре и спасла духовную жизнь католического Запада.

---

[5]) См. Г. П. Струве. Итальянские образы и мотивы в поэзии Осипа Мандельштама. Стр. 606-607. О взглядах Мандельштама на русский язык см. О. Мандельштам. Собр. соч. Т. II, стр. 289.

«Мысль Чаадаева, национальная в своих истоках, национальна и там, где вливается в Рим. ...Туда... Чаадаев принес нравственную свободу, дар русской земли, лучший цветок, ею взращенный. Эта свобода сто́ит величия, застывшего в архитектурных формах, она равноценна всему, что создал Запад в области материальной культуры, и я вижу, как папа... приподнялся, чтобы приветствовать ее»[6]).

В свете мандельштамовских комментариев к Чаадаеву нам становится понятным его стихотворение, написанное в 1914 году и названное «Encyclica», также тесно связанное с темой вечного Рима[7]).

Есть обитаемая духом
Свобода — избранных удел.
Орлиным зреньем, дивным слухом
Священник римский уцелел.

Единственный город, который Мандельштам предпочитал даже Риму, был его любимый Санкт-Петербург; он дал ему классическое имя — Петрополь. Стихи о Петербурге повествуют о надвигающейся смерти так называемой петербургской России, которую гений Петра приобщил к величию европейской истории. В 1918 году поэт писал[8]):

Прозрачная весна над черною Невой
Сломалась, воск бессмертья тает,
О если ты, звезда — Петрополь, город твой,
Твой брат, Петрополь, умирает.

Мандельштам по-разному ощущал свою близость к двум ветвям христианства — православию и католи-

---

[6]) О. Мандельштам. Собр. соч. Т. II, стр. 326-334. Приведенная цитата — на стр. 332.

[7]) Там же, т. I, стр. 43.

[8]) Там же, стр. 70-71.

цизму, развивавшихся на почве его любимой греко-римской древности. В католицизме поэт обрел рациональную строгость, божественный порядок и прямоту. В православии же ценил всепрощающую любовь, теплоту, великолепие и сглаженность форм. Многие из его лучших стихов поочередно прославляют то православие, то католицизм. Так, в 1912 году Мандельштам написал стихотворение об Айе-Софии[9]).

Айя-София — здесь остановиться
Судил Господь народам и царям!
Ведь купол твой, по слову очевидца,
Как на цепи подвешен к небесам.

В 1916 году поэт пишет стихотворение, посвященное кремлевским церквам[10]).

И пятиглавые московские соборы
С их итальянскою и русскою душой
Напоминают мне явление Авроры,
Но с русским именем и в шубке меховой.

Интересно стихотворение Мандельштама, связанное с Всероссийским Собором в 1917-1918 гг., на котором было восстановлено патриаршество[11]).

Кто знает, может быть, не хватит мне свечи,
И среди бела дня останусь я в ночи...
. . . . . .
Как поздний патриарх в разрушенной Москве,
Неосвященный мир неся на голове...

Как упоминалось выше, многие дореволюционные

---

[9]) О. Мандельштам. Собр. соч. Т. I, стр. 23.

[10]) Там же, стр. 58.

[11]) Там же, стр. 130.

стихи Мандельштама прославляют католицизм. Кроме стихотворения «Encyclica», следует назвать также «Notre Dame» (написано в 1912 г.)[12]).

Но чем внимательней, твердыня Notre Dame,
Я изучал твои чудовищные ребра,
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй
И я когда-нибудь прекрасное создам.

Остановимся на мандельштамовской символике Рима — центре его историософских взглядов до и после революции. В некоторых стихах, датированных 1916 годом и вошедших затем во второй сборник «Tristia» (1922 г.), итальянские мотивы соединяются с русскими темами, как и в его вышеупомянутом стихотворении о кремлевских церквах «с их итальянскою и русскою душой». В пореволюционных стихах Мандельштама не так много итальянских и греческих мотивов, в них скорее слышится эхо классической древности. В статье «Слово и культура», относящейся к тому же периоду (1919 г.), поэт настойчиво повторяет, что «классическая поэзия — поэзия революции»[13]). В другой статье, под названием «Государство и ритм», написанной в 1920 г., Мандельштам доказывает, что если Италия XIV века породила возрождение индивидуального духа, то теперь революционная Россия приведет к новому возрождению коллективного духа[14]).

«История знает два возрождения: первый ренессанс во имя личности, второй — во имя коллектива. Тяготение нашей эпохи к гуманизму сказалось в этом ренессансном его характере, но гуманистические интересы пришли в нашу эпоху как бы освещенные морской пеной. Те же идеи, но покрытые здоровым загаром и пропитанные солью революции».

---

[12]) О. Мандельштам. Собр. соч. Т. I, стр. 24.

[13]) Там же, т. II, стр. 264-269.

[14]) Там же, т. III, стр. 124.

До Первой мировой войны историософские идеи Мандельштама тяготели к католическому универсализму. В период революции поэт объявил, что «теперь всякий культурный человек — христианин»[15]). В статьях «Слово и культура» и «Пушкин и Скрябин»[16]) Мандельштам обнаруживает «эллинистические» и христианские истоки истинного искусства, а в статье «О природе слова»[17] поэт утверждает «эллинистическую» природу русской поэзии. В статье же, озаглавленной «Утро акмеизма» (1919 г.)[18]), Мандельштам развивает тему акмеистского культа средних веков.

Попытаемся кратко суммировать историософские взгляды поэта, выраженные им и в нескольких других статьях, написанных вскоре после революции.

Готическое христианское мировоззрение, выраженное в средневековой социально-религиозной структуре общества, есть истинный идеал Мандельштама. В эпоху средневековья христианская культура Европы основывалась на великой догме искупления. В основе христианской эстетики лежало радостное и свободное подражание Христу. Христианское искусство Пушкина и Скрябина следовало этой традиции и поэтому было глубоко связано с «эллинистической» природой русской души. Мандельштам видел мистическую связь между трагическим «эллинистическим» духом Скрябина и самоуничтожением русских староверов. Со скорбью указывал он на то, что девятнадцатое столетие окончательно отвернулось от христианской «эллинистической» культуры, обратившись к буддизму и теософии. По мнению поэта, девятнадцатый век «был колыбелью Нирваны, не пропускающей ни одного луча активного

---

[15]) О. Мандельштам. Собр. соч. Т. II, стр. 265.

[16]) Там же, стр. 355-361.

[17]) Там же, стр. 283-301.

[18]) Там же, стр. 362-367.

познания»[19]). В статье «Гуманизм и современность» Мандельштам пророчески предупреждал, что грядущая эпоха будет строить не на благо человека, а будет использовать его как строительный материал. Иными словами: человек перестанет быть целью, а превратится в средство для достижения антигуманной цели. Мандельштам отвергал политическое решение, что будто бы подлинный гуманизм может быть достигнут эгалитарной суетой демократии и революции. Он утверждал, что «никакие законы о правах человека, никакие принципы собственности и неприкосновенности», никакие конституции не в состоянии уже спасти человечество от катастрофы[20]).

Согласно взглядам Мандельштама, четко изложенным в статье «Утро акмеизма», единственный выход для человека заключается в возвращении к духовным принципам «физиологически-гениального средневековья». По мнению поэта, целью для человека должно быть не равенство и не соперничество, а «сообщничество сущих в заговоре против пустоты и небытия». Это «сообщничество» должно осуществляться под эгидой твердо установленного иерархического порядка. Средневековье, с его чувством меры и ощущением «живого равновесия», «с христианским аристократическим гуманизмом», было бесконечно дорого Мандельштаму[21]).

«Средневековье, определяя по-своему удельный вес человека, чувствовало и признавало его за каждым, совершенно независимо от его заслуг. ...Отсюда аристократическая интимность, связующая всех людей, столь чуждая по духу «равенству и братству» Великой Революции».

Как пишет Б. А. Филиппов, взгляды поэта на сред-

---

[19]) О. Мандельштам. Собр. соч. Т. II, статья «Девятнадцатый век», стр. 322.

[20]) Там же, стр. 394-396.

[21]) Там же, стр. 365-366.

невековье во многом близки современному экзистенциализму, хотя и нет сомнения в том, что элементы христианского аристократического гуманизма насыщали тот период истории[22]).

В связи с этим становится понятной постоянная обращенность Мандельштама к темам политического и религиозного универсализма. Он видел в нем символику и потенциальное величие Рима и Византии, Москвы и Санкт-Петербурга. С его точки зрения, они представляли собой исторически избранные пути к новому христианскому аристократическому гуманизму, который один лишь в состоянии остановить рак эгалитаризма, разъедающий современную культуру и общество. В свете этих идей и следует понимать его насмешливое отношение как к либерализму девятнадцатого века, так и к либеральной Февральской революции.

Этим же объясняется и его критическая настроенность по отношению к грузинским сепаратистам начала двадцатого века, которые, в его представлении, отрицали универсальность человечества[23]).

В своей интерпретации истории и нашего личного долга по отношению к ней поэт продолжал восхищаться универсализмом Чаадаева, который выразил новое, углубленное понимание народности как высшего «расцвета личности, и России, как источника абсолютной нравственной свободы» («Петр Чаадаев»).

Мандельштам встретил революцию одой, названной им «Сумерки свободы» (май, 1918 г.), в которой он сочетает свою готовность принять революцию с полным пониманием того, что происходит, и той цены, которая за революцию потребуется[24]).

---

[22]) Б. А. Филиппов. Проза Мандельштама. См. О. Мандельштам. Собр. соч. Т. II, стр. XI.

[23]) О. Мандельштам. Собр. соч. статья «Меньшевики в Грузии». Т. II, стр. 233-238.

[24]) Там же, Т. I, стр. 72.

Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий,
Скрипучий поворот руля.
Земля плывет. Мужайтесь, мужи.
Как плугом океан деля,
Мы будем помнить и в летейской стуже,
Что десяти небес нам стоила земля.

Но его приятие революции, отразившееся и в выше цитированной статье «Государство и ритм» (1920 г.), длилось недолго. В стихотворении «Век», написанном в 1923 г., поэт находит для себя выход из сложившейся ситуации в мужестве, позволяющем взглянуть в лицо революционной катастрофе и включить революцию в длинную цепь истории[25]).

Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?..

Поэт нашел в себе и мужество, и сознание ответственности. Так, в стихотворении, датированном 1924 годом, он писал [26]):

...Ну что же, если нам не выковать другого,
Давайте с веком вековать.

В стихах Мандельштама, написанных в тридцатые годы, гораздо больше итальянских мотивов, чем в стихах двадцатых годов, По мнению Г. П. Струве, эти поздние итальянские мотивы распадаются на три категории: образы, заимствованные из итальянского искусства, отголоски дантовой поэзии и зачарованность италь-

---

[25]) О. Мандельштам. Собр. соч. Т. I, стр. 102.

[26]) Там же, стр. 114.

янской речью. Эти итальянизмы были тесно связаны со всепоглощающей тоской Мандельштама по Западу[27]).

В одном из самых прекрасных его стихотворений, датированном 24 апреля 1931 года[28]), поэт слил свою тоску по любимой им и навеки утраченной петербургской эпохе с тоской по Западу, от которого его отделила жестокая действительность советской России.

Я пью за военные астры, за всё, чем корили меня:
За барскую шубу, за астму, за желчь петербургского дня,

За музыку сосен савойских, Полей Елисейских бензин,
За розы в кабине ролс-ройса, за масло парижских картин.

Я пью за бискайские волны, за сливок альпийских кувшин,
За рыжую спесь англичанок и дальних колоний хинин...

Много лет спустя, в марте 1937 года в воронежской ссылке поэт простился с Францией[29]).

Я прошу, как жалости и милости,
Франция, твоей земли и жимолости.

Стихи Мандельштама в течение всей его жизни постоянно напоминают о его пристрастии к классической древности.

Наиболее часто в стихах мы встречаем изображение республиканского и императорского Рима, Рима

---

[27]) Г. П. Струве. Итальянские образы и мотивы в поэзии Осипа Мандельштама. Стр. 610.

[28]) О. Мандельштам. Собр. соч. Т. I, стр. 152.

[29]) Там же, стр. 240.

пап и Ренессанса и даже современного поэту фашистского Рима. Этому даже в самые последние годы жизни Мандельштам остался верен — своим прежним взглядам на универсальность человеческого гения.

По мнению А. Лурье, Мандельштам обретал свой рай

«...в абсолютном, музыкальном самоизживании творимого образа или идеи. В этом и заключалось его подлинное, пророческое ощущение мира, как старого и обреченного, так и нового, чаемого, но еще не осознанного. Эсхатологическое сознание было главной движущей силой Мандельштама, подлинной творческой интуицией в ее высшей категории и на большой глубине. Больше всего Мандельштаму была необходима *повторность;* ему казалось, что «прекрасное мгновенье», промелькнув, должно повториться вновь и вновь. Как память строит форму в музыке, так история строила форму в поэзии Мандельштама... но застывшие исторические факты и формулы Мандельштам превращал в живой быт эпохи; «язык булыжника» был ему «голубя понятней», и его словесная гравюра революционного Парижа, например, нам видна во всех мелочах повседневного быта. Мы привыкли думать о революционном Париже, как о грозной, бушующей народной стихии, но Мандельштам нам показывает «прабабку городов», где «камни — голуби, дома, — как голубятни», где поют песенки, жарят каштаны, а декреты Робеспьера подобны детской игре: «Здесь клички месяцам давали, как котятам». Этот бытовой «уют», такой неожиданный при описании террора создан Мандельштамом оттого, что революционная буря отбушует, а камни прабабками городов с ее домами, как голубятни, останутся»[30]).

Такое поэтическое изображение революции пере-

---

[30]) А. Лурье. Детский рай. «Воздушные пути» № 3, стр. 161-172. Нью-Йорк, 1963. См. также И. Бушман. Поэтическое искусство Мандельштама. «Институт изучения СССР», № 70, стр. 23-25. Мюнхен, 1964.

дает нам мироощущение поэта, на котором зиждется его постижение реальности.

Это особое отношение Мандельштама к жизни в очень скором времени оказалось не соответствующим политическим требованиям коммунистической власти. В тяжелых условиях советской действительности современность грозила поглотить хрупкие вечные аспекты исторического прозрения поэта. Но так как его пленение действительностью носило по существу эстетический характер, искусство Мандельштама не могло выродиться в полемику. Его отзывы на социальные и политические проблемы продолжали оставаться независимыми и строго индивидуалистическими. В этом духе он писал в 1923 году[31]):

...И я хочу вложить персты
В кремнистый путь из старой песни,
Как в язву...

В стихотворении «1 января 1924» Мандельштам смелыми штрихами изобразил советскую Москву[32]):

Кого еще убьешь? Кого еще прославишь?
Какую выдумаешь ложь?
То ундервуда хрящ: скорее вырви клавиш —
И щучью косточку найдешь...

Много лет спустя, в стихотворении «Полночь в Москве», датированном «Май — 4 июня 1931» года, Мандельштам пытается разъяснить энтузиастам первой пятилетки[33]):

Пусть это оскорбительно — поймите:
Есть блуд труда, и он у нас в крови.

---

[31]) О. Мандельштам. Собр. соч. Т. I, стр. 109.

[32]) Там же, стр. 111-113.

[33]) Там же, стр. 155-158.

Поэт сохранил веру в духовные основы человеческого существования до конца жизни. Незадолго до его ареста, в мае 1932 года, в своем стихотворении «Ламарк», он писал[34]):

Если все живое лишь помарка
За короткий вымороченный день,
На подвижной лестнице Ламарка
Я займу последнюю ступень.

Как убедительно показал Э. Райс, поэту в этом стихотворении удалось под маской научности скрыть от советских чиновников свою горячую веру в бессмертие и отрицание материалистического кредо[35]).

В заключение следует заметить, что мандельштамовское ви́дение реальности не носило чисто исторического характера. Он пользовался историей в качестве некоего источника для своих художественных идей, стараясь проникать в скрытую духовную реальность. Поэтому его художественное восприятие действительности было личным, субъективным. В отличие от Мандельштама, историки пытаются установить общественный тип реальности и объективности. В потоке исторических событий Мандельштам жадно искал те явления, которые поддерживали его духовные силы в годы бурных политических перемен. Это отношение к жизни и истории помогало ему сохранять духовное равновесие во всех испытаниях, которые выпали на его долю в эпоху сталинизма. Так, в течение тяжких лет его изгнания и ссылки, когда ломалась его личная судьба, Мандельштам продолжал хранить веру в универсализм и духовную значимость жизни.

---

[34]) О. Мандельштам. Собр. соч. Т. I, стр. 168.

[35]) Э. Райс. Творчество Осипа Мандельштама. О. Мандельштам. Собр. соч. Т. 1, стр. XCII.

БИБЛИОГРАФИЯ

Адамович Г. Несколько слов о Мандельштаме. «Воздушные пути», № 2, стр. 87-101. Нью-Йорк, 1961 г.

Ахматова А. Мандельштам. «Воздушные пути», № 4, стр. 23-24. Нью-Йорк, 1965 г.

Бушман, И. Поэтическое искусство Мандельштама. «Институт изучения СССР», № 70, стр. 23-25. Мюнхен, 1964 г.

Лурье А. Детский рай. «Воздушные пути», № 3, стр. 161-172. Нью-Йорк, 1963 г.

Мабо-Азовский М. О Максимилиане Волошине, Мандельштаме и других. «Новое русское слово» от 14 янв. 1949 г. Нью-Йорк.

Маковский С. Портреты современников. «Чеховское изд-во», Нью-Йорк, 1955 г.

Мандельштам О. 57 стихотворений. «Воздушные пути», № 2, стр. 7-69. Нью-Йорк, 1963 г.

Мандельштам О. Пять стихотворений. «Воздушные пути», № 4, стр. 162-166. Нью-Йорк, 1965 г.

Мандельштам О. Собрание сочинений. Изд. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. «Международное литературное содружество». Т. I, Вашингтон, 1964 г. Т. II, Нью-Йорк, 1966 г. Т. III, Нью-Йорк, 1969 г.

Мандельштам О. Стихи о неизвестном солдате. «Вестник РСХД», № 75-76, стр. 98-101. Париж, 1964-5 г.

Марголин Ю. Памяти Мандельштама. «Воздушные пути», № 2, стр. 102-110. Нью-Йорк, 1961 г.

Струве Г. П. Итальянские образы и мотивы в поэзии Осипа Мандельштама. „Studi in onore di Ettore Lo Gatto e Giovanni Maver“. Рим, 1962 г.

Н. О. Лосский

ИНТУИТИВИЗМ

6. ЗАЩИТА УЧЕНИЯ О СУБСТАНЦИАЛЬНОСТИ «Я»

Как только философ усомнился в том, что в сознании дано Я как субстанция, тотчас услужливый ум подсовывает ему ряд косвенных соображений, кажущихся на первый взгляд убедительными доказательствами того, что действительно Я как субстанция в опыте не дано и даже вообще Я не может быть субстанциею. Дети, говорит Соловьев, считают свое тело «носителем своего Я» (стр. 169). Т. Липпс приводит еще лучший пример неопределенности представлений о Я; он говорит, что, придя с прогулки и смотря на свои покрытые пылью сапоги, мы говорим «я запылился». Из этого, как правильно указывает Липпс, следует только, что словом «я» мы обозначаем свое Я вместе со всею душевною жизнью, вместе с телом и даже одеждою. Нужен всё более глубокий анализ, чтобы сначала выключить из представления о Я тело, потом также и душевные переживания и, наконец, довести анализ до той глубины, при которой мы наблюдаем Я как сверхвременного субстанциального деятеля, не искажая понятие о нем никакими примесями.

Факты раздвоения вовсе не служат доказательством того, что Я не есть субстанция. Они могут быть объяснены тем, что в одном и том же теле два различных субстанциальных деятеля борются между собою и пе-

---

Окончание. См. начало в «Гранях» № 77. — Ред.

риодически то один, то другой становятся во главе тела[10]).

Соловьев, полагая, что в сознании наличествует Я не как субстанция, а только как форма единства сознания, ставит вопрос, есть ли мыслящее Я индивидуальный субъект или сверхиндивидуальный, и в конце статьи говорит о Я, мыслящем истину, как о сверхличном субъекте (стр. 213). Признать вместе с Декартом сознающее Я за индивидуальную субстанцию Соловьев отказывается, между прочим, на основании следующего соображения. «Из того, что всевозможные психические состояния соотносятся с одною и тою же мыслью Я, никак не следует, чтобы это Я было не мыслью, а чем-то другим. ...Другое дело, если бы существовало сознание творческой деятельности нашего Я в самом возникновении его представлений, чувств, желаний и т. д., т. е. если бы между ними было такое различие, что Я выступало бы в сознании как творческая энергия или подлинный акт, а все прочее характеризовалось бы только как его пассивное произведение, если бы, например, теперь, смотря на эту стену с висящим на ней портретом, я непосредственно сознавал, *что она произведена мною,* моим собственным внутренним действием, а также сознавал бы и *как* это сделано». Даже о чувствах и желаниях Соловьев говорит: «Всякий сознает себя желающим и чувствующим, но, насколько известно, никто никогда ни наяву, ни даже во сне не сознавал себя творцом своих желаний и чувств, т. е. их настоящею причиною или достаточным основанием» (стр. 173). Эти соображения Соловьева неосновательны.

---

[10]) См. об этом в моей статье «Психология человеческого Я и психология человеческого тела»; Записки Русского Научного Института в Белграде, выпуск 17, 1940 г. Немецкий перевод: „Psychologie des menschlichen Ich und Psychologie des menschlichen Körpers"; изд. Русского Свободного Университета в Праге, 1940 г. — Н. Л.

Согласно изложенному выше учению о строении сознания, видимые мною стена и портрет вовсе не сотворены мною, а составляют часть внешнего мира; только акт внимания, направленный мною на них, творится мною, и то, что он есть мое творение, сознается с такой очевидностью, которая не требует никаких дальнейших доказательств. В споре с психологами (например с Рибо), строющими ошибочные теории внимания, нужно только разъяснять, что они имеют в виду различные *следствия* внимания, и стараться направить их наблюдение на само усиление нашего Я созерцать предмет.

Требование, чтобы я мог описать, как это сделано, в данном случае неправомерно. Оно имеет смысл тогда, когда нужно объяснить, как сделан какой-либо сложный предмет, для произведения которого нужно использовать материалы, уже существующие в природе, и осуществить ряд средств для достижения конечной цели. Но и при этом объяснении некоторые, главным образом элементарные стороны сложного процесса творчества таким способом объяснены быть не могут, потому что они суть подлинно «творение из ничего». Под этим термином, заимствованным из христианского учения о творении мира Богом, нужно разуметь нечто очень простое, именно следующее: творчество в точном смысле слова имеется там и настолько, где и насколько творец вносит в мир нечто новое, не беря для этого нового никакого материала ни извне, ни из себя самого. Естествознание, исследуя причину какого-либо процесса, например, возникновения воды при соединении кислорода и водорода, показывает, опираясь на закон сохранения вещества и закон сохранения энергии, что количество вещества и энергии в причине и действии остается тожественным; но при этом не может оказаться, что все стороны действия тожественны с тем, что было в причине. Мейерсон давно уже обратил внимание на то, что в таком случае в мире не было бы изменений. В каждом изменении есть хотя бы ка-

кой-либо ничтожный момент возникновения чего-либо нового, не бывшего в мире, что и есть творение из ничего. Каждое колебание маятника, например, есть движение новое, еще не бывшее в мире, и в этом смысле оно есть новое творение.

Вернемся теперь к своим душевным процессам, которые мы можем наблюдать, вникая в их интимные оттенки. Усилия внимания явным образом творятся мною; мое хотение видеть игру Шаляпина в «Борисе Годунове», удовлетворение мое при исполнении этого желания, очевидно, суть и состояния и — более того — *проявления* моего Я, так что мое Я есть *причина* возникновения их. Конечно, эти сложные процессы содержат в себе много слагаемых, которые могут возникнуть не иначе, как при сотрудничестве моего Я с деятелями моего тела; но я говорю не о всем составе их, а лишь о том основном ядре хотения и удовлетворения, которые суть выражение самого моего Я. Об участии тела в этих процессах, в отличие от деятельности Я, подробно говорится в моей статье «Психология человеческого Я и психология человеческого тела».

В процессе восприятия и мышления интенциональные акты внимания, выбор интересующих нас предметов и т. п. до такой степени органически связаны с моими хотениями и чувствами, что мыслящее Я очевидно есть мое *индивидуальное* Я, а не какое-то сверхличное трансцендентальное Я. Но если Я есть причина этих событий, то оно не пустая форма единства сознания, а субстанциальный деятель, и именно деятель индивидуальный, как это усмотрел Декарт, многие спиритуалисты и как это обосновывает многими доказательствами проф. Лопатин в ряде своих статей. Доказательства того, что сверхличного, сверхиндивидуального Я нет и быть не может, приведены в моей статье «Трансцендентальная феноменология Гуссерля («Путь», сентябрь 1939 г.). Доводы в пользу того, что Я есть сверхвременный субстанциальный деятель, кроме приведен-

ных выше, изложены в моей статье «Душа и бессмертие» (в сборнике «Свет истинный», Женева, 1939 г.).

Сверхвременность и сверхпространственность индивидуального Я, т. е. субстанциального деятеля, обязывает признать, что субстанциальный деятель принадлежит к области *идеального* бытия. К этой области принадлежит также всё невременное и непространственное, например, содержание всех общих понятий. Таковы идеи математические, например, идея пятиричности, треугольности, идеи родов и видов существ и вещей, например, идея лошадности, человечности и т. п. Это те идеи, которые были предметом исследования Платона. Они глубоко отличны от идеального бытия субстанциальных деятелей. В самом деле, субстанциальные деятели суть самостоятельные и активные существа; они творят события, т. е. *реальное* бытие. Наоборот, математические идеи, идеи родов, видов не самостоятельны и пассивны; они суть лишь *аспекты* конкретных существ и событий, мыслимые путем абстракции. Можно поэтому назвать субстанциальных деятелей *конкретно-идеальным* бытием, а пассивные идеи *абстрактно-идеальным* бытием. И реальное бытие, и бытие абстрактно-идеальное подчинены субстанциальным деятелям: деятель творит реальное бытие, т. е. события, сообразно абстрактным идеям, например, поэт творит поэму из строф по четыре стиха, т. е. придает им форму четверичности; Страсбургский собор построен архитекторами сообразно идее готического стиля; всю свою жизнь, душевную и телесную, человек осуществляет сообразно идее человечности, а лошадь — согласно идее лошадности.

Философы, отрицающие бытие идей, говорят, что учение об идеальном бытии есть заблуждение, возникающее вследствие *гипостазирования* (т. е. субстанциализации) или даже *овеществления* (Verdinglichung) общих понятий. Вопрос о бытии идей подробнее всего рассмотрен мною в книге «Чувственная, интеллекту-

альная и мистическая интуиция». К ней я и отсылаю читателя, а здесь только рассмотрю упрек в гипостазировании или овеществлении понятий с целью доказать, что ошибку ложного гипостазирования производят не защитники бытия идей, а (как это ни странно на первый взгляд) противники этого учения.

Допустим, что в мире совсем нет ни конкретно-идеального, ни абстрактно-идеального бытия. Тогда мир состоял бы только из событий, т. е. из бытия, имеющего временную форму и названного нами реальным бытием. Примером такого понимания мира может служить учение Гераклита в древности, а в новой философии таково учение Маха, Бергсона, Генриха Гомперца, написавшего книгу «Die Welt als geordnetes Ereignis», и многих других мыслителей.

Такое учение назовем *актуализмом* в отличие от систем, которые можно назвать *субстанциализмом* (учение о том, что события творятся субстанциальными деятелями, но абстрактно-идеального бытия нет) и *идеал-реализмом* (учение о том, что абстрактно-идеальное бытие есть)[11]).

Отдадим себе точный отчет в том, что такое событие, т. е. бытие, имеющее временну́ю форму. Наиболее понятным образцом временно́й формы события может служить движение, например, полет пушечного ядра. Очевидно, движение состоит в том, что положение ядра в пространстве ежемгновенно меняется, каждое положение его ежемгновенно отпадает в область прошлого и заменяется новым, не задерживаясь ни на секунду, ни на десятую, ни на сотую и т. д. секунды. Эта головокружительная смена, будучи существенною чертою формы времени, свойственна не только движению, а и всякому событию. Не только движение ядра, но и звук его есть такое же непрестанное отпадение звучания в

---

[11]) Характеристику этих учений о мире см. в моей книге «Типы мировоззрений», Париж 1931. — Н. Л.

прошлое и нарождение нового звука, похожего на предыдущий, но не тожественного с ним. Если мы говорим, что это тот же самый звук, мы выражаемся не точно; в действительности каждое мгновение возникает новый звук, который, однако, по сходству с предыдущими звуками подходит под тожественное общее понятие (идею) гудения. И эта мысль понятна всем людям и всеми признается за истину. Но хуже обстоит дело со многими другими событиями, например, с цветом вещей. Большинство людей, смотря на ядро в течение нескольких минут и видя его стальной цвет в течение этого времени одинаковым, воображает, что этот цвет длительно *пребывает* во времени, оставаясь тожественным. Они не отдают себе отчета в том, что цвет, как и звук, есть событие, ежемгновенно отпадающее в прошлое и вновь нарождающееся, так что тожественным оказывается не «этот цвет», а понятие о нем.

Допустим теперь, что мир действительно состоит только из событий, и будем правильно понимать события, не подменяя ни одного из них *пребыванием* в течение нескольких секунд, минут, дней и т. п. Последовательное мышление о таком мире приводит к крайнему скептицизму. Гераклит говорит, что в одну и ту же реку нельзя войти два раза, а последователь его Кратил, учитель Платона, сказал, что и один раз войти в одну и ту же реку нельзя, так быстро все меняется. Критикуя это учение в диалоге «Кратил», Платон показывает, что оно ведет к саморазрушительному скептицизму: если бы все состояло только из событий, то не было бы возможно знание, потому что тогда во время процесса познавания ускользало бы познаваемое, да и сам познающий тоже становился бы другим существом; таким образом, не было бы ни познаваемого предмета, ни познающего существа. Отсюда ясно, что мир не может состоять только из событий, т. е. из того бытия, которое, имея временну́ю форму, ежемгновенно отпадает в прошлое и заменяется новым бытием, имеющим

ту же участь. В мире несомненно должно существовать идеальное бытие, т. е. бытие, не имеющее временнóй формы. И философ, не сбиваемый с правильного пути ложными предпосылками и субъективными примесями, внимательно наблюдая состав сознаваемых предметов, с очевидностью находит в них тот аспект, который следует назвать термином идеальное бытие. На первом месте по своему значению для гносеологии в составе этого бытия стоит конкретно-идеальное бытие, т. е. индивидуальные Я как сверхвременные субстанциальные деятели. Благодаря своей сверхвременности, Я способно познавать не только абстрактно-идеальное бытие, но и может иметь, чего не усмотрел Платон, достоверное знание также о событиях, потому что может направлять акты своего внимания и различения не только на настоящее, но и на прошедшее, и даже, хотя и в более слабой степени, на будущее.

Идеальное бытие есть необходимая составная часть мира, так что события не могут ни возникать, ни быть познаваемы, если в мире нет идеального бытия. Спрашивается, каким же образом актуалисты строят свои учения о мире как только множестве событий. Очень просто: они безотчетно субстанциируют события, *стабилизируют* их; они ошибочно принимают, например, камень с его цветом, твердостью, тяжестью не за процесс, а за нечто длительно пребывающее во времени. Ошибка эта возникает потому, что в основе всех процессов, также и таких процессов камня, как его цвет, тяготение, сопротивление давлению, находятся различные виды идеального бытия: все эти акты творятся множеством субстанциальных деятелей камня сообразно идеям отталкивания, притяжения, цвета и т. п. Актуалист, не производя достаточно глубокого различения и анализа, переносит невременность субстанциальных деятелей и абстрактных идей на процессы и ошибочно понимает их как *состояния* вещи, пребывающей во времени более или менее длительно. Наоборот, идеал-

реалист точно разграничивает в вещи ту сторону ее, которая есть действительно процесс, и ту, которая стоит вне времени, служа условием возникновения и систематичности процесса; при этом он и в самом вневременнóм бытии различает более основное — сверхвременное, именно субстанциальных деятелей, и невременные абстрактные идеи, сообразно которым деятель творит события. Итак, не идеал-реалист ошибочно субстанциирует понятия, а, наоборот, актуалист ошибочно субстанциирует некоторые процессы, стабилизируя их, и потому не имеет правильного представления о том, что такое вещь, например, камень. Без идеального бытия в мире не было бы никакого единства событий и порядка их; поэтому актуалист на словах отрицает идеальное бытие, а на деле вводит его в свое мировоззрение, однако не в том месте и не в том доступном лишь умозрению виде, какой ему присущ. Ярким образцом этой ошибки может служить философия Маха. Все предметы внешнего мира, а также человеческое Я суть, по учению Маха, не более как комплексы ощущений (цветов, звуков, давлений и т. п.), которые он просто называет словом «элементы» во избежание теорий, субъективирующих ощущения. Об этих «элементах» он нередко говорит так, как будто они суть устойчивые материалы, нечто вроде атомов, из которых путем сочетания и разложения, путем перекомбинировки их возникают предметы. Таким образом, Мах безотчетно превращает цвета, давления и т. п. в какие-то примитивные субстанции и этим путем вносит в мир бóльшую упорядоченность и связность, чем какая возможна для его неорганического актуализма.

Значительная часть этой статьи посвящена вопросу о Я как сверхвременном субстанциальном деятеле. Без таких свойств субъекта невозможно было бы знание как непосредственное созерцание предметов в подлиннике. Если бы индивидуальное Я не было сверхвременным, не была бы возможна координация его со

всем миром. Если бы индивидуальный субъект не был самостоятельным онтологическим началом, стоящим выше телесных и душевных процессов, он не мог бы свободно творить интенциональные акты, направленные на любые предметы, и не мог бы свободно критически оценивать одни высказывания как выражение истины, а другие — отвергать как выражение заблуждения. Несвободные субъекты были бы во всех познавательных процессах детерминированы своею психофизическою организациею, и каждый из них признавал бы за истину то высказывание, которое по законам строения его организации должно было бы казаться ему истинным. Наконец вечность истины и тожество ее для всех познающих субъектов были бы необъяснимы, если бы индивидуальные субъекты не были сверхвременными существами, способными многократно в разные времена направлять акт внимания на один и тот же предмет, например, на одно и то же событие.

7. ИНТУИТИВИЗМ И АНГЛО-АМЕРИКАНСКИЙ НЕОРЕАЛИЗМ

Американский и английский неореализм, подобно интуитивизму, есть учение о том, что человек воспринимает предметы внешнего мира непосредственно в подлиннике. Однако у многих неореалистов это учение глубоко отличается от интуитивизма. Многие неореалисты отрицают существование субъекта как сверхвременного субстанциального деятеля, направляющего интенциональные акты на предметы внешнего мира и таким образом возводящего их в сознание. Они представляют себе восприятие слишком упрощенно, как пересечение процессов жизни человека с процессами внешнего мира, вследствие чего некоторая группа процессов оказывается входящею одновременно и в состав человека, и в состав внешнего мира. Это учение можно

пояснить путем сравнения с пересечением двух линий АВ (человек) и СД (внешний мир) в точке Е: точка Е принадлежит к составу как линии АВ, так и линии СД. Назовем такой неореализм *бессубъектным*. Отличие его от интуитивизма состоит в следующем.

1. Согласно интуитивизму, воспринимаемая мною вещь, например, береза, находится в моем личном восприятии только как предмет наблюдения, а не как часть моей личности; согласно бессубъектному неореализму, воспринимаемая береза есть часть моей личности; изложенное мною выше различение для-себя-бытия и для-другого-бытия отпадает.

2. Бессубъектный неореализм может обойтись без учения об интенциональных актах как необходимом условии познания предметов.

3. Бессубъектный неореализм ведет к *релятивизации* понятия психического и физического, подобно тому, что мы находим у Маха: это учение о том, что один и тот же элемент Е (береза) есть *физическое* событие, поскольку, находясь в составе внешнего мира (линии СД), он подчинен законам физики, и вместе с тем *психическое* событие, поскольку, находясь в составе восприятия, он подчинен законам психологии[12]).

4. Мало того, бессубъектный неореализм может устранить понятие сознания и приблизиться к материализму.

Бессубъектный неореализм не способен объяснить, как возможно непосредственное познание предметов внешнего мира в подлиннике: он чересчур приближает предмет внешнего мира к наблюдателю, считая предмет точкою пересечения наблюдателя и внешнего мира,

---

[12]) О несостоятельности такой релятивизации физического и психического см. мою книгу «Типы мировоззрений», гл. III, 3 и мою статью «Критика теории знания Р. Карнапа с точки зрения идеала знания». — Н. Л.

так что предмет становится частью самого наблюдающего существа; но каким образом, например, береза, находящаяся в десяти метрах от меня, может быть частью меня? Вообще принципиальных вопросов гносеологии не только бессубъектный неореализм, но и весь англо-американский неореализм не разработал. Без учения о сверхвременном индивидуальном субъекте, об органическом единстве мира, о таком независимом от пространства и времени отношении, как гносеологическая координация, без учения об акте сознавания, как трансцендирующем за пределы субъекта, — нельзя объяснить интуиции, т. е. непосредственного созерцания предмета в подлиннике. Основ гносеологии неореалисты не выработали, но им принадлежит заслуга разработки некоторых частных проблем гносеологии, в особенности исследование различий в восприятии одного и того же предмета различными наблюдателями и доказательства того, что эти разногласия не дают права считать содержание восприятия субъективным.

Со времен Декарта не только философы, но и большинство образованных людей усвоили себе убеждение, что весь состав сознания слагается из субъективных психических процессов. Поэтому согласие с гносеологиею интуитивизма требует пересмотра и преобразования очень многих сторон мировоззрения. Пока это преобразование не произведено, учения интуитивизма вызывают много недоразумений. Так, например, многие люди считают невероятным учение о том, что материя может быть сознаваема в подлиннике. И в самом деле, это учение непонятно для того, кто держится ошибочного учения о материи, исключающего возможность координации между познающим субъектом и материальными предметами. Положим, кто-либо считает материю субстанциею и думает, что она состоит из твердых атомов, отделенных друг от друга пустым пространством. В таком мире, состоящем из элементов, не образующих органического целого, координация субъекта с этими

элементами была бы невозможна, и, следовательно, акты непосредственного созерцания материи были бы неосуществимы. Наоборот, кто придерживается динамистического учения о материи, в особенности в соединении с метафизикою персонализма, тот вполне понимает, как возможна интуиция, направленная на материальные предметы. Согласно этому учению, материя есть не самостоятельная субстанция, а только материальный процесс, именно процессы отталкивания и притяжения; производят эти акты субстанциальные деятели, которые суть действительные или потенциальные личности, способные творить не только материальные, но и психические или по крайней мере психоидные процессы. Все субстанциальные деятели координированы друг с другом и, если стоят на той ступени развития, на которой возможны акты сознавания и познавания, могут наблюдать материальные процессы так же непосредственно, как и психические.

8. ИНТУИТИВИЗМ И КРИТИЦИЗМ КАНТА

Замысел интуитивизма возник в моем уме в связи с задачею опровергнуть учение Канта о невозможности метафизики как науки и вместе с тем в связи с признанием многих ценных сторон критицизма Канта[13]).

Поясню это путем сравнения критицизма с интуитивизмом.

1. Обе теории утверждают, что знание возможно только о предметах, имманентных сознанию. Но, согласно критицизму, эти предметы суть не вещи в себе, независимые от сознания, а только явления, конструированные рассудком из ощущений, понятых Кантом как субъективно-психические процессы. Наоборот, согласно интуитивизму, познающий субъект возводит в

[13]) См. об этом в моей книге «Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция», гл. VI, 1. — Н. Л.

сознание предметы, независимые по своему бытию и строению от сознания; в этом смысле они суть вещи в себе. Некоторые из этих предметов интуитивист может называть словом явление, но это слово имеет у него не гносеологическое, а метафизическое значение: под ним он разумеет проявления (Manifestation) жизни субстанциальных деятелей во времени.

2. Кант в своей гносеологии поставил вопрос, как возможны всеобщие и необходимые синтетические суждения. Он решил его своим учением о *синтетической рациональной,* т. е. идеальной стороне суждений и обосновал новый отдел логики — именно трансцендентальную логику. К сожалению, он принизил значение своего открытия тем, что низвел найденные им рациональные синтетические формы на ступень лишь субъективных психических синтезов, конструирующих предметы только как явления. Он отверг в системе научного знания метафизическое онтологическое значение таких понятий, как субстанция и принадлежность, причинность, взаимодействие, и пришел к гносеологическому идеализму, отрицающему возможность метафизики как науки. Согласно интуитивизму, синтетические рациональные формы суть не психические акты синтезирования, производимые познающим рассудком, а онтологические формы самого бытия, благодаря которым мир есть систематическое целое, и потому он может быть предметом научного знания.

3. Вслед за Кантом интуитивизм признает, что условия возможности знания и условия возможности предметов совпадают. Эту мысль Кант выражает в формуле, утверждающей в духе гносеологического идеализма приоритет знания перед бытием: он говорит, что «условия возможности опыта вообще суть вместе с тем условия возможности предметов опыта» (Трансц. аналитика, 11 кн., 11 гл., 11 секция). Интуитивизм повторяет эту формулу, однако, в обратном порядке, утверждая в духе онтологизма приоритет бытия над зна-

нием: условия возможности бытия (т. е. системы мира) суть вместе с тем условия возможности знания о бытии. Так, например, к числу важнейших сторон системности мира принадлежит причинная связь во времени и функциональная зависимость между идеальными формами мирового бытия. Наблюдая такие связи, мы высказываем суждения «ветер сорвал крышу с дома», «площадь квадрата равняется квадрату стороны его». Объективная сторона этих суждений есть отрезок бытия, содержащий в себе причинную связь в первом случае и связь функциональной зависимости во втором случае. Будучи опознана, такая системность бытия выражается в виде суждения, в котором субъект суждения или, точнее говоря, предмет его (ветер, квадрат) и предикат суждения относятся друг к другу онтологически, как причина и действие или как члены функциональной зависимости, а логически — как связь достаточного основания и следствия. Таким образом, указанные онтологические связи, будучи опознаны, функционируют в знании как логическая связь основания и следствия. Каждое суждение «S есть P» есть такая система, в которой предмет S содержит в себе достаточное основание для предиката P: наблюдая S, мы принуждены признать наличие также и отличного от S бытия P, потому что S содержит в себе причину P или связано с P функциональною зависимостью. Такая система *онтологически* есть зависимость одних элементов бытия от других, а *логически* она выражается в виде синтетического суждения.

В своей «Логике» я стараюсь доказать, что все суждения имеют *синтетический* характер, т. е. имеют строение «S есть P». Аналитических суждений, т. е. суждений, имеющих строение «SP есть P», нет. В аналитических суждениях необходимость мыслить о предмете SP, что ему принадлежит предикат P, основывалась бы на законах тожества, противоречия и исключенного третьего. Такую необходимость можно назвать терми-

ном *аналитическая необходимость следования.* Три указанные закона имеют первостепенное значение как онтологическое, так и логическое (см. о них мою «Логику» гл. 11). Но суждения, в которых необходимость перехода от субъекта к предикату сполна основывалась бы только на этих трех законах, согласно формуле «SP есть P», не имели бы никакого значения для системы знания; Кант правильно указал на то, что они знания не расширяют. Поэтому таких суждений, имеющих характер полной или частичной тавтологии, в системе знания нет. Все наше знание состоит из суждений синтетических «S есть P», в которых, мысля S, мы сознаем необходимость мыслить еще нечто отличное от S, именно P. Эту необходимость можно назвать термином *синтетическая необходимость следования.* Связь между субъектом суждения и предикатом здесь есть связь *достаточного основания и следствия.* Только те высказывания и могут быть названы суждениями, в которых отношение субъекта и предиката удовлетворяет требованиям четвертого логического закона — именно закона достаточного основания, понятого как закон синтетической необходимости следования. Онтологически этому закону соответствует связь причинности и связь функциональной зависимости. Форма субъекта синтетического суждения и предиката его не обеспечивает необходимой связи, как это мы имеем в тавтологии «SP есть P», где под S и P можно подставлять любое содержание. Чтобы усмотреть, что S необходимо обосновывает отличное от него P, нужно внимательно всматриваться в содержание S и в то самосвидетельство S и P, согласно которому они связаны друг с другом. Поэтому и вся система логики, разработанная мною на основании понимания закона достаточного основания как закона синтетической необходимости следования имеет характер *компрегензивизма* (теории ее исходят из отношения содержания понятий), а не *экстензионализма* (теорий, исходящих из отношения объемов понятий).

4. Критицизм Канта есть попытка преодолеть односторонность предшествовавших ему эмпиризма и рационализма. Кант задался целью произвести синтез эмпиризма и рационализма путем учения о том, что знание каждого явления содержит в себе две стороны — апостериорный материал (ощущения) и априорную форму. Апостериорный материал вместе с априорными формами времени и пространства соответствуют тому, что главным образом имеют в виду эмпиристы в своих учениях о знании, а рассудочные априорные формы, понятые Кантом как категориальные синтезы, производимые нашим рассудком, составляют рациональную, логическую сторону знания. Это учение есть *неорганический синтез* эмпиризма и рационализма: апостериорная и априорная стороны знания, по учению Канта, происходят из двух различных источников, именно из чувственной восприимчивости человека, раздражаемой какими-то непознаваемыми предметами и дающей ощущения, с одной стороны, и из рассудка, синтезирующего ощущения, с другой стороны. Теория эта не может объяснить, каким образом апостериорная и априорная стороны знания сочетаются так, что из них получается *система* познаваемых явлений[14]).

Интуитивизм есть тоже синтез эмпиризма и рационализма. Согласно интуитивизму, все достоверное знание, всякое суждение обосновывается *эмпирически* путем опыта, состоящего в самосвидетельстве предметов, ставших имманентными сознанию, благодаря направленным на них интенциональным актам сознавания, внимания, различения. Но вместе с тем всякое суждение обосновывается и *логически,* потому что в каждом суждении есть рациональная логическая сторона: отношение между предметом суждения и предикатом есть

---

[14]) Подробно об этих недостатках критицизма Канта см. в моих книгах «Обоснование интуитивизма» и «Введение в философию», ч. 1. Введение в теорию знания. — Н. Л.

отношение достаточного основания и следствия. Поэтому, мысля предмет, необходимо мыслить и предикат. Обосновывается эта необходимость онтологически строением самого мира, именно связями причинной зависимости или связями функциональной зависимости между различными сторонами его. Таким образом, согласно интуитивизму, каждое суждение без исключения доказано и эмпирически, и логически.

9. ИНТУИТИВИЗМ И НЕОСХОЛАСТИКА

Частичный интуитивизм, т. е. учение о том, что некоторые предметы внешнего мира созерцаются нами в подлиннике, существовал уже в древней греческой философии, например, он определенно выражен в трактате Аристотеля «О душе». Субстанция, т. е. индивидуальный единичный предмет состоит, по Аристотелю, из формы (идеи), воплощенной в материи. Разум человека до восприятия предметов внешнего мира есть потенция их форм и становится актуальностью этих форм при восприятии предметов. В этом смысле разум есть «всё сущее» (III, 8). Нужно при этом помнить, что, при восприятии, например, камня, в разуме человека находится не камень, а только его форма, его идея, без его материи. Но все же т. к. форма есть сущность предмета, то в известном смысле можно сказать, что восприятие есть сам воспринимаемый предмет, и в знании о бытии наличествует само познаваемое бытие (De anima, III, 4 и 5).

В греческой философии было весьма распространено учение о транссубъективности чувственных качеств, цветов, звуков, тепла, холода и т. п. Восприятие этих качеств понималось в духе наивного реализма как непосредственное созерцание их.

В средневековой схоластике частичный интуитивизм существовал благодаря связи с гносеологией

Аристотеля, и учение о транссубъективности чувственных качеств было широко распространено. В новой философии Галилей, Гоббес и Декарт, в связи с механистическим учением о материальной природе, стали сторонниками казуальной теории восприятия и, следовательно, учения о том, что чувственные качества существуют не во внешнем мире, а лишь в нашем уме как наши субъективные психические состояния. Вплоть до нашего времени громадное большинство философов и психологов держится этих учений. Однако в католической философии, в неосхоластике, есть лица, придерживающиеся частичного интуитивизма. Так, например, профессор Гредт в своей книге «Unsere Außenwelt» дает ценное учение о непосредственном восприятии чувственных качеств.

Профессор Грегорианского университета в Риме Фр. Морандини написал статью «Realismo immediato a realismo critico» (в журнале «Gregorianum», XXVII, 1946 г.). Термином «непосредственный реализм» он обозначает учение о том, что предметы внешнего мира познаются путем непосредственного созерцания, а под термином «критический реализм» он разумеет опосредствованный реализм, т. е. учение о том, что познание внешнего мира достигается, исходя из психических образов, возникающих в нашем уме под влиянием опыта. В своей статье Морандини указывает имена следующих сторонников непосредственного реализма в современной итальянской литературе: София Vanni-Rovighi, K. Giacon, V. La Via, C. Ottaviano. Он говорит, что в Лувенском университете кардинал Мерсье основал своеобразный вид опосредствованного реализма, но в настоящее время и в Лувене это учение отвергнуто. Профессор Лувенского университета L. Noël опубликовал книгу «Le réalisme immédiat» (1938 г.). Его теория есть частичный интуитивизм, потому что он отрицает существование интеллектуальной интуиции. «Если бы у нас была интеллектуальная интуиция, говорит он, мы были

бы способны постигать до последних деталей все особенности вещи, определяющие ее к такому-то бытию. Такого знания у нас нет» (стр. 276). Это отрицание интеллектуальной интуиции неосновательно. Выше было показано, что каждый акт интуиции, даже и интеллектуальной, дает только фрагментарное знание.

Неосхоластики не могут выработать всестороннего интуитивизма потому, что для объяснения, как возможно непосредственное восприятие внешнего мира, они прибегают к учению Аристотеля, согласно которому разум человека есть потенциально форма всех форм. Недостаток этого учения состоит в том, что оно чересчур приближает воспринимаемый предмет к душе познающего субъекта. Чтобы избежать нелепой мысли, будто человек, воспринимающий лошадь, сам становится лошадью, схоластики вместе с Аристотелем принуждены утверждать, что в душу вступает идея лошади без материи, в которой эта идея воплощена. Отсюда следует, что существование единичного предмета не может быть дано в непосредственном созерцании[15]).

Таким образом, гносеология схоластиков имеет характер лишь частичного интуитивизма.

Объяснение возможности интуиции, данное мною, именно ссылка на органическое единство мира, в силу которого чужое бытие есть бытие не только для себя, но и для меня, дает возможность утверждать, что существование предмета и его индивидуальная природа могут быть непосредственно созерцаемы так же, как и свойства его, выражаемые в общих идеях. При этом онтологическая дистанция между познающим субъектом и познаваемым предметом нисколько не уменьшается: воспринимаемая мною лошадь есть только предмет наблюдения, а не часть моей психо-физической индивидуальности.

---

[15]) См. статью: Roland-Gosselin, Peut-on parler d'intuition intellectuelle dans la philosophie thomiste? Festgabe Joseph Geyser um 60. Geburtstage. Philosophia perennis. II. Band. — Н. Л.

Некоторые католические философы полагают, что мой интуитивизм содержит в себе отрицательное отношение к дискурсивному мышлению. Они упускают из виду, что термин «интуиция» в моей теории знания означает только непосредственное созерцание познающим субъектом и своей душевной жизни, и предметов внешнего мира в подлиннике. Согласно этой теории, дискурсивное мышление есть один из видов интуиции, именно интеллектуальная интуиция, направленная на идеальные аспекты мира.

10. МНИМАЯ И ПОДЛИННАЯ НАУЧНОСТЬ

В современной науке и философии представители некоторых направлений гордятся научностью своих исследований и пренебрежительно относятся к другим направлениям, считая их ненаучными. Неумеренные похвальбы своею научностью и отрицательное отношение к другим путям исследования как ненаучным обыкновенно возникают следующим образом. Мир есть чрезвычайно сложная система, богатая разнообразными видами бытия. Поэтому, кроме общих принципов бытия, лежащих в основе всего мира, в нем есть различные области, исследование которых должно опираться на различные группы принципов и методов. Каждая такая специальная группа принципов и методов в высшей степени полезна для исследования одной области мира, но не может быть плодотворно применена при исследовании других областей мира. Коренная ошибка некоторых мыслителей состоит в том, что они, избрав одну ограниченную группу принципов и методов, провозглашают ее как единственно научную и хотят распространить ее на все науки, на всю систему миропонимания. Чем ограниченнее излюбленная ими группа принципов и методов, тем фанатичнее они восхваляют ее как единственно научную, а все остальные принципы и методы тем пренебрежительнее отвергают, как будто бы нена-

учные. Ярким примером такого фанатизма и сектантской узости мышления может служить направление логического эмпиризма («венский кружок», «Wiener Kreis» Шлика и др., учение Р. Карнапа и большой группы других приверженцев этого направления)[16]).

Мнимая научность, имеющая характер одностороннего сужения системы принципов и методов исследования, возникает чаще всего под влиянием сознательного или даже безотчетного усвоения *каузальной* теории восприятия. Отсюда многие ученые приходят к убеждению в том, что состав опыта весьма беден: содержание опыта, по их мнению, состоит только из чувственных данных, из ощущений, понятых ими как субъективные психические состояния наблюдателя, нечувственный опыт они отвергают; поэтому они полагают, что в опыте даны только психические состояния субъекта и чувственные представления его о материальных, т. е. пространственно оформленных предметах. Согласно такому учению, Бог и связи Его с миром в опыте не даны; сверхвременные и сверхпространственные субстанциальные деятели (говоря популярным языком — душа) и вообще идеальное бытие в опыте не даны; все процессы даже и в живой природе должны быть понимаемы не как целестремительные акты, направленные на осуществление ценностей (телеологическое миропонимание), а как события, обусловленные слепою бесцельною причинностью. Таким образом, эта научность характеризуется обезбожением, обездушением, обезжизнением и обессмыслением мира. Эта научность выдвигает обыкновенно на первый план материальные процессы и в то же время должна признать, что материя в опыте не дана, так как, согласно своей гносеологии, эти ученые полагают, будто в сознании наблюдателя имеются только собственные его психические состояния.

---

[16]) См. мою статью «Критика теории знания Р. Карнапа с точки зрения идеала знания», Filozoficky Sbornik, 1944, č. 3. — Н. Л.

Иное понятие научности отстаивает интуитивизм на основании координационной теории восприятия. Согласно интуитивизму, субъект способен непосредственно созерцать в подлиннике любые виды и стороны бытия, существующие в мире. Следовательно, есть много видов опыта. В чувственном опыте даны материальные процессы как нечто глубоко отличное от душевных процессов, наблюдаемых путем нечувственного опыта. Субъект способен наблюдать не только свою, но и чужую душевную жизнь. Далее, субъект способен наблюдать не только реальное бытие, но и бытие идеальное посредством интеллектуальной интуиции. Металогические принципы, находящиеся в мире, и даже сверхмировое начало, Бог, познаются посредством мистической интуиции. Не только бытие, но и ценность его непосредственно дана в опыте, который можно назвать аксиологическим. Согласно М. Шелеру, у человека есть даже особая способность, имеющая в виду ценности: по его учению, чувства суть интенциональные субъективные акты, направленные на объективную ценность предметов. Особенно утонченные аксиологические данные имеются в этическом, эстетическом и религиозном опыте.

Так как в опыте даны Бог и субстанциальные деятели с их целестремительною и целесообразною активностью, т. е. жизнью, так как в опыте даны не только всевозможные виды бытия, но и ценность их, то интуитивист, опираясь на опыт, понимает мир как живое, целесообразное и осмысленное целое, тесно связанное с Богом, и с горестью наблюдает старания представителей мнимой научности насильственно истолковать мир в духе обезбожения, обездушения, обезжизнения и обессмысления.

Рассмотрим теперь несколько более частных различий подлинной и мнимой научности. Подлинная научность есть только там, где все достоверное знание основано на опыте, именно на самосвидетельстве предмета,

возведенного в сознание познающим субъектом. Все это знание состоит из синтетических суждений, но эта синтетичность принадлежит самому предмету суждения, именно состоит в том, что в бытии предмета сторона S необходимо связана с отличною от нее стороною P; что же касается наблюдателя этих связей, он находит их и вообще устанавливает весь состав суждения только посредством *анализа* предмета. В самом деле, хотя суждение «S есть P», например, «число шесть делится на два без остатка», «эта роза желтая», есть синтетическая система, но открывает ее наблюдатель путем различения, ведущего к анализу, выделяющему из состава мира предмет S, предикат его P и необходимость перехода от S к P. Итак, в достоверном знании недопустим синтез, производимый самим познающим субъектом: такой синтез всегда есть субъективная конструкция, возникающая как результат субъективной ассоциации представлений или деятельности воображения и т. п. Такой синтез не есть достоверное знание о предмете.

О великих ученых нередко говорят, что после многих лет анализа они выработали всеохватывающий синтез. Такая характеристика есть неточное описание их труда. В действительности это значит, что такой ученый довел анализ до такой глубины, на которой открыл принцип, имеющий весьма многообъемлющее значение, например, подобный принципу сохранения энергии, из которого вытекает бесчисленное количество выводов, и он служит для них общим всеохватывающим основанием.

Умозаключения, согласно интуитивизму, со своей объективной стороны, если взять отношение между посылками и выводом, суть синтетические системы; поэтому они расширяют наше знание[17]). Но деятельность познающего субъекта и тут состоит лишь в *анализе* предмета и его связей с миром, анализе, откры-

---

[17]) См. об этом строении умозаключений мою «Логику» ч. II, гл. V. — Н. Л.

вающем на основании самосвидетельства предмета необходимость перехода от посылок к выводу. Таким образом, и умозаключение есть вид интуиции, т. е. непосредственного созерцания субъектом строения самого бытия в подлиннике.

Мир построен иерархически: над низшими простейшими царствами природы надстраиваются более высокие, более сложные и более ценные ступени бытия. Таковы, например, ступени — неорганическая природа, организмы животных и растений, социальное бытие. Высшие ступени используют низшие, опираясь на них, но они не представляют собою только более сложную комбинацию процессов низшей ступени; в них всегда есть творение нового бытия. Подлинная научность состоит в том, чтобы не стараться насильственно свести высшую ступень на уровень низшей, т. е. понять ее только из законов низшей ступени; научность состоит именно в том, чтобы, опираясь на самосвидетельство предмета, т. е. на опыт, усмотреть оригинальные стороны высшей ступени и выразить их в новых понятиях. Кант правильно указал, что следует избегать обеих крайностей: entia praeter necessitatem non esse multiplicanda (не следует без нужды умножать число принципов), но также entium varietates non temere esse minuendas (не следует необдуманно уменьшать многообразие принципов)[18]).

Поскольку высшие ступени бытия опираются на низшие, они зависят от этих низших ступеней. Но есть и обратная зависимость низшего от высшего; так, существенно важно то, что в основе всех материальных процессов находятся душевные (или по крайней мере психоидные) процессы и духовные начала, от которых зависят материальные события, а во главе всего мира стоит Бог; поэтому ничто в мире не может быть объяснено без ссылки на одушевленность мира, а самые ос-

[18]) Критика чистого разума, Приложение к трансцендентальной диалектике. — Н. Л.

новные вопросы, касающиеся строения мира и развития его, могут быть разрешены не иначе как в направлении сверху вниз.

Мнимая научность, господствующая в наше время, характеризуется чертами, прямо противоположными перечисленным. Она стремится объяснить мир, идя снизу вверх. Сторонник мнимой научности полагает в основу своих теорий простейшие факты, относящиеся к низшей ступени бытия и потому широко распространенные в природе. К тому же и эти факты он обыкновенно подвергает бóльшему упрощению, чем как они в действительности существуют в природе. Хорошим примером упрощения может служить убеждение многих ученых, будто опытами экстирпации тех или иных участков мозга доказано, что материальный физиологический процесс есть причина тех или других психических явлений. Так, например, вырезывание височной области коры большого мозга у млекопитающих влечет за собою потерю слуховых восприятий. Отсюда некоторые лица делают вывод, будто материальные процессы в височной области коры большого мозга составляют причину психического процесса, именно возникновения слуховых ощущений. Этот вывод не вытекает из посылок. В самом деле, он получен путем индуктивного умозаключения по методу единственного различия. Причины явлений обыкновенно бывают сложны, и удаление части причины уже ведет за собой невозникновение действия. Значит, при исследовании по методу единственного различия можно поручиться лишь за то, что найдена по крайней мере часть причины явления, но нельзя утверждать с достоверностью, что найдена полная причина. В приведенном примере материалистического толкования восприятия звука содержатся две ошибки. Во-первых, согласно интуитивизму, звук есть не психическое состояние наблюдателя, а транссубъективный процесс, сопутствующий, например, колебанию струны; следовательно, к области психическо-

го здесь принадлежит только интенциональный акт воспринимания, направленный на звук. Но и причина этого психического акта сложна: воспринимание звука возникает тогда, когда физиологический процесс в мозгу послужит для моего Я стимулом совершить акт внимания, направленный на звук. Если я очень увлечен, например, писанием философской статьи, звуковые волны могут сотрясать барабанную перепонку уха, физиологический процесс в мозгу, без сомнения, совершается, но своего внимания я не направлю на звук и он останется невоспринятым[19]).

Если физиологический процесс есть только повод, подстрекающий мое Я совершить акт внимания, то в деятельности восприятия душевный акт внимания к звуку есть более значительный фактор, чем материальный процесс в мозгу.

Можно найти доказательства того, что строение природы прямо противоположно представлениям о ней материалистов: не психические процессы зависят от материальных, а наоборот, материальные процессы совершаются всегда как психо-материальные или по крайней мере как психоидно-материальные, причем руководящая роль принадлежит психическому или психоидному аспекту их[20]).

Не удивительно поэтому, что материалисты всегда терпят крушение на вопросе об условиях возникновения психических процессов.

Стараясь понять и объяснить высшие, более значительные стороны бытия из низших, представители мнимой научности говорят, что они стоят на прочной почве опыта. В действительности, однако, они на каждом шагу

---

[19]) См. о восприятии как волевом акте мою книгу «Основные учения психологии с точки зрения волюнтаризма», гл. I, II, 1. — Н. Л.

[20]) См. об этом мою статью «Формальная разумность мира», Записки Русского Научного Института в Белграде, вып. 15, 1938 г. Французский перевод: La raison formelle de l'univers, Travaux du IX. Congrès intern. de philosophie, t. X, 1937.

обнаруживают недоверие к опыту, именно к самосвидетельству предметов, данных в утонченных формах опыта: они не доверяют опыту духовной и душевной жизни, интеллектуальной интуиции, аксиологической интуиции и в особенности мистической интуиции. Поэтому зачастую вместо *анализа,* открывающего первичные стороны мира, не разложимые на элементы, сторонник мнимой научности старается объяснить их путем *синтеза* их из каких-либо других элементов. Но всюду, где знание получается не как следствие анализа предмета, данного в опыте, а как следствие синтеза, т. е. конструкции, произведенной ученым, мы имеем дело не с истиною, а с фантастическими измышлениями. Вспомним, например, старания Спенсера и Вундта понять представление пространства как синтез непространственных ощущений и представление времени как синтез невременных психических элементов. Вспомним старания множества ученых обойтись в биологии без понятия органической целости и без понятия целестремительной активности. Боясь метафизики, сторонники мнимой научности отвергают идеальное бытие и для объяснения такого факта, как общие понятия и общие суждения, строят сложные теории номинализма или концептуализма, стараясь выколдовать из единичных данных опыта суррогат идеального бытия. Душевные акты такой ученый не наблюдает в их первичном, ни на что другое не сводимом своеобразии и старается свести их к телесным процессам. Такова, например, теория внимания Рибо, согласно которой внимание есть только усиление представлений, обусловленное мускульными приспособлениями; это значит, что Рибо совсем не наблюдает духовный акт усилия, направленного на предмет, следствием чего являются мускульные приспособления. Встречаясь с проявлениями альтруизма, к которому способны не только люди, но и животные, сторонник мнимой научности старается вывести их из инстинкта самосохранения; нужны фантастические синте-

зы для того, чтобы из инстинкта самосохранения получить нечто прямо противоположное ему, именно пожертвование своею жизнью в борьбе за чужую жизнь или за ценности истины, свободы и т. п.

Невнимание сторонников мнимой научности к высшим формам опыта особенно ярко обнаруживается в их отношении к религиозным переживаниям, доказывающим существование Бога. Факты религиозного опыта, имеющие характер «встречи» человека с Богом, они стараются истолковать как только совокупность субъективных чувств, которые, следовательно, не свидетельствуют о действительном бытии Бога. Чувства, конечно, имеются в религиозном опыте, но внимательное наблюдение и анализ открывают, что эти чувства направлены на объективное содержание сознания, именно на восприятие Высшего существа, не сравнимого ни с чем земным по своей ценности. Превосходное описание этого религиозного опыта дано в книге Р. Отто «Das Heilige». Много ценного можно найти также в книге В. Джемса «Многообразие религиозного опыта». Опыт этот не менее убедителен, чем восприятие солнечного света, заливающего поля и луга летом; поэтому лица, пережившие его и не старающиеся под влиянием своих страстей или ложных предпосылок закрыть глаза на него, знают с абсолютною достоверностью, что Бог есть.

Бытие Бога и зависимость мира от Него есть фактор, обусловливающий возникновение мира, целесообразность его и иерархию ценностей в нем. Отсюда ясно, что обезбожение, обездушение и обессмысление мира есть дело мнимой научности. Подлинное научное мировоззрение ставит во главе всей системы знаний учение о Боге и творении Им мира, в основе которого лежат духовные начала. В таком мире есть абсолютные ценности, есть целестремительность, целесообразность и осмысленный процесс развития.

Библиография

ЗАЛЕТНАЯ ДУША

Одни поэты провозглашают своим девизом: «Пиши как угодно скверно, лишь бы трогать сердца людей» (и действительно, тщатся «будить сердца», но пишут прескверно). Другие полагают, что поэзия должна чему-то или кому-то служить: Богу, человечеству, России, «родной партии» (и вправду пишут «стихи для жизни» — однобокие, тенденциозные). Третьи учат, что поэзия должна отражать окружающую действительность или ее увековечивать (и нередко оказываются неплохими зеркалами или фотографическими аппаратами). Четвертые думают, что пишут стихи «для стихов» (но все же их издают и пускают в продажу). Пятые ищут в поэзии забвения, убегают в нее от остроугольного мира.

Спор этот очень стар. Мне представляется, что никакое «для» к стихам неприменимо, никого и ничего поэзия не обслуживает. Рождаются стихи, как дети — потому, что им пришел срок родиться.

Если бы мы спросили Дм. Кленовского о его взгляде на поэтическое творчество, он, вероятно, согласился бы с нами в том, что стихи — не *для* жизни в любом разрезе, а стихи — сама жизнь. Они не могут не писаться. И только у таких стихов, которые не могли не написаться, есть и напряженность, и доходчивость, и очарование, и вескость благородного металла, и внутренняя свобода.

Сказанное не значит, что стихи Дм. Кленовского — ювелирные изделия, но мне кажется, что установки парнасской школы поэту не претят и даже увлекают его. Кленовский — поэт, требовательный к себе, сосредоточенный, немногословный, обладающий вкусом и чувством меры:

Дм. Кленовский. Певучая ноша. Мюнхен. стр. 64. 1969.

Ночь была бессонной потому,
Что одна строка не удавалась.
Никогда я, видно, не пойму,
Почему томит такая малость!

«Почему?» — никто не поймет, но каждому поэту знакомы бессонные ночи из-за одной неудавшейся строки.

Дм. Кленовский консервативен, и это видно, прежде всего, из того, что чаще всего он пишет ямбом — почти вдвое чаще, чем хореем. Разностопных стихов (логаэдов) у него в десять раз меньше, чем ямбических. Трехсложными стопами он в «Певучей ноше» не пользуется совершенно.

Слух к метру у Кленовского очень обострен. Лично я «отверг» бы только одну строку: «Ты здесь что-то заработать мог». Это не хорей, так как слово «здесь» оставить без ударения нельзя, и «ты здЕсь» (ямб) явно лучше мнимого хорея «тЫ здесь».

Разнообразие несколько повышается умелым применением различных типов рифмы. Обычные мужские и женские рифмы преобладают, но иногда они перемежаются с дактилическими. Составными рифмами Кленовский пользуется очень редко, и это можно только поставить ему в плюс. Рифмы этого типа нарочиты и топорны («оправить — стара ведь», «извЕдать мне — свЕдены», «чИсто так — золотистые»).

К счастью, поэт помнит, что «розы — слезы» — «так благоуханно, / Так трепетно рифмуют, так *свежо*», и не увлекается «новаторством», чаще всего маскирующим небрежность и умственную лень.

Не отнесем в кредит поэту таких хромых созвучий, как «о чем же — вспомнить», «ослепило — зазмеилась», «подруги — руки», «уходя — тебя», «морю — переспорил», «хватит — плачет», «люди — полюбят», «краски — прекрасней», «поверил — намерен», «след — земле», «пирамиды — видел» и многие другие.

Употребление грамматических форм у поэта почти всегда правильно, и словарь тщательно выверен. Я не допустил бы, впрочем, «чернилом» вместо «чернилами», не растянул бы фа-

милию Уайльда на три слова «У-айль-да», постарался бы избежать двусмысленной фразы «В старой книге, что пятнает плесень» (плесень пятнает книгу или книга пятнает плесень?), скопления согласных («на земле ль, в ее ль» и др.), газетных клише: «честно заслуживших» и «принадлежащем... к самым мудрым и простым забавам». Ударения почти всегда правильны, хотя я написал бы «подкрадётся», «исчЕрпавший».

Быть может, самое любопытное в версификации Кленовского — робкие попытки воскресить осмеянные лет полтораста тому назад «зрительные рифмы», когда какой-то незадачливый стихотворец рифмовал «благо — добраго» на основании сходства начертания. Это было действительно плохо, хуже некуда. Кленовский слишком консервативен, чтобы прямо вернуться к такой рифмовке, но у него встречается (правда, один раз!) зрительная рифма: «ФьЕзоле — столе».

«ФьЕзоле — столе», вероятно, не удержится, но уже зрительная рифма «ФьЕзоле — золе» могла бы иметь надежду закрепиться в современном стихотворении.

Неслужбенность поэзии утверждается Кленовским безоговорочно:

Счастливое, волнующее слово
Приходит к нам всегда легко дыша,
Оно слететь как лепесток готово
И только ждет, чтоб приняла душа.

А если нет, а если жжет и душит,
Задумано тобой, а не дано,
И нарастает всё трудней и глуше —
Не соблазняйся: это не оно!

Первоисточник поэтического «вдохновения», несомненно, сверхрационален или иррационален. Оно не может быть сведено ни к «внешним раздражениям», ни к «процессам, протекающим внутри нашего организма». Человек — животное, хочет есть, пить, спать и размножаться: откуда и для чего у него стихи? И много ли наскажет марксист в рифму, даже по приказанию начальства?

В частности, «половой голод» материалистов очищается, просветляется, преображается у Дм. Кленовского в нечто неизмеримо высшее и благородное:

Есть в мире яркие цветы,
Есть в мире звонкие прибои,
Но вот ко мне прижалась ты
И заменила их собою.

Ты всю себя дала в залог
За эти радости вселенной —
Была и свежей, как цветок,
И нежной, словно шелест пенный.

И вот не нужно стало мне
Входить в сады, спускаться к морю...

«Женщины, любившие поэтов», живут в их стихах, хотя бы и не названные, хотя бы и непостоянные:

Ну что же, пусть на время, если
Иначе не сумеешь ты!
Порою всех других прелестней
Недолговечные цветы!

Если в любви нет этого высшего очарования, то она становится «повторяемой неповторимостью» или остается «одним из наших органических процессов». Тем более не поддается материалистическому развенчанию и опошлению и возносится еще выше любовь к прекрасному, совершенно не связанная с инстинктом:

А роза в вазе на моем столе
Сияет равнодушно и бесстрастно.
Что ей до огорчений на земле!
Она ведь по-нездешнему прекрасна!

Где-то рядом с эстетическим идеалом таится у поэта и образ идеальной возлюбленной:

Хотя в стихах я говорю
Всё об одной любимой —
Я разный облик ей даю,
Всегда неповторимый.

На подлинную философскую высоту поднимается поэт в стихотворении «Она» и «он» — два разных естества» (я сказал бы: разные), откликаясь в нем на известный миф Платона:

Нельзя! Никак! Мы можем быть вдвоем,
Но никогда не сможем стать единым!

Мотивы предсуществования душ звучат у него в стихотворении «О детстве вспомнить хорошо», где пятая строфа вылилась одним дыханьем:

Ведь в лепете карандаша
Под неуверенной рукою
Живет залетная душа,
Еще не ставшая земною.

Залетная душа подлинного поэта милостью Божьей...

Кленовскому ведомо, что «не бывает на земле / Бесследного прикосновенья», что каждая земная жизнь — только отрезок длительного опыта, и он пытается взвесить и осмыслить этот опыт:

Что дали мне, задев мой путь,
Внезапные прикосновенья,
Всё, что упало мне на грудь,
Подруги, мотыльки, цветенья?

Поэт нисколько не сомневается в том, что земное существование — только саморастрачивание, которое как-то уравновесится на следующем этапе:

Если с этим ты уйдешь отсюда,
Будет, может быть, — тебе дано
За твое растраченное чудо
Что-то, что дороже, чем оно.

Этот опыт творится в борьбе не только с внешним миром, но и с раздробленностью внутри самого человека. Об отсутствии единой воли поэт рассказывает в чудесных строках:

Не решай рукою правой
Дело наперед,
. . . . . .
А сначала в той, что ближе
К сердцу, в левой, в ней
Взвесь всё то, чем ты обижен,
Взвесь, весов верней.

Две руки, как символ двух волеустремлений — не новая тема, но, чтобы быть оправданной, мысль не обязана быть новой. Пишущий эти строчки замечал еще в 30-ых годах: «Но этот враг, что мстит исподтишка — / Должно быть, левая твоя рука» именно потому, что сердце часто мешает нам в наших рассудочно построенных планах («Две руки»). Уже в Бразилии мне встретился где-то отрывок на эту же тему, и я сразу перевел его с португальского языка на русский:

Правой рукою водит искусство,
Левою сердце водит рукой.
Если ты хочешь писать про чувство,
Значит, ты должен стать левшой.

Стихи теперешнего периода питаются у Дм. Кленовского воспоминаниями и раздумьями:

Всё дурное и всё хорошее
Перебродит в душе твоей
И певучею станет ношею —
Собеседником поздних дней.

Воспоминания поэта, его умудренные раздумья причастны вечному идеалу красоты. И потому они обжигают.

Едва ли не лучшим стихотворением книги «Певучая ноша» следует признать написанное в прошлом году стихотворение о поисках мира невещественного, не познаваемого путями эмпирического знания:

Я тоже горлиц посылал
За веткой из масличной рощи,
Но так еще и не держал
Ее в руке моей. Не проще ль
Быть гордым, быть настороже
И в дальнее не верить диво?
О, сколько задушил уже
Я этих горлиц нерадивых!
Но иногда, на всё в ответ,
Мне слышится: «Начни сначала!
Что, если не нашелся след
Не потому, что рощи нет,
А горлица не долетала?»

Валерий Перелешин

«DICHTUNG» И «WAHRHEIT»

Сперва перед нами — петербургский беспризорник, сын уличной шлюхи Ленька Решков. Его взял к себе, воспитал, отдал в университет полковник Павел Иванович Мовицкий, георгиевский кавалер и инвалид Русско-японской войны. В январе 1917 года студент Леонид Решков убивает своего благодетеля. О мотивах убийства автор почти ничего не говорит. Лишь мимоходом он сообщает, что в следственном материале «есть на-

---

Виктор Свен. Моль. Роман. Изд. Товарищества Зарубежных Писателей, Мюнхен, 1969

мек, что студент-убийца добивался любви девушки Ирины», дочери полковника Мовицкого.

А потом перед нами проходит жизнь Леонида Николаевича Решкова. Февральская революция и выход из тюрьмы «жертвы царизма», головокружительная карьера у большевиков в ЧК. Так чекистом Решков и остался. До самой своей смерти, принятой им добровольно (убил его, по его же просьбе, Семен Семенович Суходолов, раскаявшийся чекист-дезертир).

И до самой смерти не мог он избыть из души покончившую с собой Ирину Мовицкую, и до самой смерти терзали его сомнения в чекистском призвании.

Такова вкратце фабула романа, охватывающего период с 1917 по 1934 год.

Но «сделан» роман совсем по-особенному.

В числе главных действующих лиц мы встречаем двоих: Автора и Собеседника Автора. Характеры этих действующих лиц не даны. Зато даны их диалоги. А тема диалогов — не «Dichtung», а «Wahrheit». Автор и его Собеседник цитируют подлинные «Известия», «Правду», «Литературную газету» и иные источники, обсуждая попутно судьбы других героев. Автор и Собеседник Автора — это как бы резонеры драмы XVIII века, переселившиеся в нашу эпоху.

Оправдан ли такой приём: привлечение резонеров и вторжение «Wahrheit» в «Dichtung»? В данном случае, мне кажется, он пришелся кстати: многое оттенил, да и мера его использования строго взвешена. Но было бы ошибкой повторить этот приём, несущий в себе неизбежный риск смешения беллетристики и публицистики.

Леонид Николаевич Решков, человек с душевным изъяном, чекист и друг Дзержинского, удался автору вполне. То же можно сказать о Семене Семеновиче Суходолове, крестьянине, попавшем в чекисты по наивной вере в большевизм, а затем мстившем за самообман из бандитского подполья. Закономерна гибель Решкова — вид самоубийства от чужой руки.

Бледнее образ Ирины Мовицкой, дочери полковника Мовицкого; самоубийство ее недостаточно мотивировано, хотя его еще можно понять.

Но чего никак нельзя понять и что совсем не мотивировано — это убийство Решковым своего благодетеля и воспитателя Мовицкого. «Студент-убийца добивался любви девушки Ирины», — говорит автор, ссылаясь на следственный материал петербургской полиции. И это всё. Но почему из-за любви к девушке — пусть хотя бы (как мы можем предположить) неразделенной — потребовалось убить ее отца? Здесь какая-то загадка, и загадка, художественно неоправданная. Ведь весь последующий путь Решкова — следствие совершенного им преступления, а само преступление психологически не раскрыто.

Коснемся двух фактических погрешностей, допущенных в романе. Княжна Екатерина Долгорукова была невестой царя-мальчика Петра Второго, а не Петра Великого. Убийство (или, если угодно, самоубийство) Решкова происходит в чащобе Полесья 1 декабря 1934 года — в день убийства Кирова: именно тогда застрелил его Суходолов.

«— Вот и всё, — прошептал, наконец, Суходолов, с удивлением наблюдая за жирной мухой, уже пристроившейся у левого виска Решкова». Муха в декабре? Как говорится, «досадная опечатка».

Перейдем к «Wahrheit». Здесь немало того, что следовало бы всегда помнить. Вот, например, данные из книги С. Ушеровича «Царские казни в России». ОГИЗ, Харьков, 1937 год:

«По приговорам царских судов казнено революционеров:

в царствование Александра Первого 24;
в царствование Николая Первого 41;
в царствование Александра Второго 47;
в царствование Александра Третьего . . . . . 33.»

Итак, за сто лет без малого «кровавым царским режимом» было казнено, согласно *советским* данным, всего 145 человек.

А вот из беседы Черчилля со Сталиным в 1942 году:

«Черчилль начал разговор об уничтожении кулаков во время коллективизации...

Иосиф Сталин: — Десять миллионов? Конечно, это было ужасно и заняло четыре года».

Автор (в одном из разговоров с Собеседником) приводит и слова Хрущева из его доклада на XXI съезде партии:

«Массовые репрессии и террор, расстрелы.., применяемые Сталиным во всё больших и больших масштабах... Сталин заставил партию и НКВД пользоваться массовым террором... Сталин от имени ЦК ВКП (б) санкционировал пытки».

Мало кто знает, что в феврале 1919 года Ленин чуть было не стал жертвой бандитов-грабителей, остановивших его автомобиль, ехавший поздним вечером по пустынным улицам Москвы. Вот как рассказывается об этом в романе:

«По снежным улицам Москвы двигался автомобиль, окруженный конвоем преданных, испытанных чекистов, китайцев, латышей... В автомобиле сидел Ленин. Владимир Ильич. Он улыбался, предвкушая бурю аплодисментов после речи, которую через полчаса произнесет на каком-то историческом заседании...

Свист. Сигнал. И отряд Ошалкина бросается наперерез, останавливает машину. Охранников — как ветром сдуло. В автомобиле несколько трясущихся, охваченных ужасом человек. Выглядят они жалко.

Ошалкину надо торопиться. «Ну, ну поворачивайтесь! — командует он. — Выгружай карманы!» На особенно жалкого растерявшегося человека направлена винтовка. Вот-вот раздастся выстрел. Ошалкин пренебрежительно бросает: «Погоди, не стреляй! Пошуруй в карманах». Шуровать не пришлось. Трясущийся человек в бородке и сам торопливо вытаскивает из карманов всё там находившееся: бумажник, записные книжки, какой-то сверток и... браунинг.

...И Ошалкин, презрительно ткнув кулаком в заросшую бородкой физиономию, выкинул хозяина браунинга из автомобиля. Бородка, дрожа от страха, лежала на грязном московском снегу...

Ровно через полчаса, сидя в притоне, узнал возглавитель банды Барин, что автомобиль, теперь принадлежащий Ошалкину, недавно принадлежал Ленину. В руках Ошалкина были партийный билет Ленина, разные его документы, записки и браунинг Ленина. Вот тут-то все поняли, что в их руках действительно был Ленин. Ошалкин схватился за голову, потом кинулся на того, кто приставил винтовку к бороде Ленина. —

Почему не стрелял, гад ползучий?! — орал Ошалкин. — Да ты же сам не велел, — отбивался обвиняемый. Ошалкин сунул пистолет в карман. — Вира! Назад! Еще поймаем! И автомобиль понесся опять в январскую московскую ночь, но поймать Ленина так и не удалось».

«Dichtung»? Нет, «Wahrheit». Автор цитирует опубликованный в Советском Союзе очерк «Покушение»:

«Нападение произошло недалеко от здания районного Совдепа... Малейшая попытка сопротивления могла окончиться трагически — смертью Владимира Ильича. Бандиты забрали документы и оружие. Кое-кто из них передернул затвор винтовки... «Брось, ни к чему!»

Взревел мотор, и машина мгновенно исчезла в пелене снега... Никто из бандитов не знал, что ограбленный — председатель Совета народных комиссаров. Это обстоятельство спасло Владимиру Ильичу жизнь».

Но если отвлечься от вторжения «Wahrheit» в «Dichtung», то весь роман написан в стиле добротной повествовательной прозы, характерной вообще для русской литературы в наши дни, когда на Западе экспериментируют с «анти-романами».

Почему произведение названо так странно: «Моль»? В названии — символика. «Молью» Суходолов назвал партию. Словечко Суходолова повторит и Решков: «*Моль* продолжит свою ложь до бесконечности. *Моль* стремится существовать только для себя, плодиться дальше и по партийно-наследственным законам воспроизводить подобное себе. С разговорами, что это и есть настоящее счастье. Для вас всех. Для ваших потомков. От этой лжи *Моль* никогда не откажется. Да и невозможно от нее отказаться. Ложь требует постоянной пищи, то есть новой лжи. Каждый раз новой, очередной, генеральной, соответственно утвержденной».

Виктор Свен сделал героями «Моли» людей с судьбами исключительными: интеллигентного убийцу, ставшего чекистом, не верившим в глубине души в «светлое завтра», и чекиста из крестьян, поверившего было в «светлое завтра», потом проклявшего его и ушедшего в уголовное подполье.

«Dichtung»? Нет, «Wahrheit»: жизненная правда коммунизма на Руси далеко оставит за собой любой «Dichtung»-вымысел.

Но вот концовка «Моли» — это уже полностью «Dichtung»: действующие лица, место действия, декорации — всё, всё меняется. Остаются лишь Автор, перенесенный в современность, куда-то в западно-европейский город, встречать Новый год, да еще подошедший к нему в ресторане незнакомый господин. «Держа бокалы на уровне глаз, они пристально рассматривали друг друга, как большие, душевные друзья, перед которыми долгая, может быть, даже окончательная разлука».

О «Моли» стоит поспорить. Не будем закрывать глаза на изъян в логике построения романа. Но не это в конечном итоге важно. Автору удалось смешение «Wahrheit» и «Dichtung». Виктор Свен написал интересную хорошую книгу.

А. Неймирок

НЕ УМЕЮЩАЯ СОЛГАТЬ

Издательством «Посев» выпущен сборник стихов Натальи Горбаневской (стихи 1956-1967 гг.).

Не будет лишним напомнить некоторые детали из биографии поэтессы. Быть может, не все знакомы с ними, зато, несомненно, будущая свободная Россия с волнением и благодарностью вспомнит ее имя наряду с именами других мужественных русских людей, посмевших выступить с протестом против преступных действий советского правительства.

Пятого февраля 1968 г., во время беззаконного процесса Галанскова, Гинзбурга, Добровольского и Лашковой, поэтесса отправила письмо протеста с 170 подписями своих единомышленников на имя генерального прокурора СССР и других высших инстанций. Обратный адрес на всех конвертах она поставила свой. Через несколько дней Н. Горбаневская, ожидавшая

Наталья Горбаневская. Стихи. Изд. «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1969.

тогда ребенка, почувствовала себя плохо и, по предложению врача, легла в родильный дом на исследование. Но когда захотела выйти из больницы на свою ответственность, оказалось, что она находится в ловушке. Ее не только не выписали, но насильственно перевели из родильного дома в психиатрическую больницу без всякого к тому основания. Оказавшись под опекой «бесплатной медицинской помощи», Н. Горбаневская пишет родным и друзьям отчаянные записки, умоляя, чтобы они хлопотали о ее освобождении.

В приложении к сборнику стихов помещены эти письма, в которых передана ее мучительная тревога в условиях насильственного помещения в психиатрическую больницу. Однако, к удивлению близких, через двенадцать дней Горбаневскую выпустили, видимо, не решаясь задерживать дольше из-за ее беременности. Сохранилась записка от марта того же года: «Если меня хотели запугать, — пишет она, — выбить из колеи... — из этого ничего не вышло. Я спокойна, я спокойно жду ребенка, и ни ожидание, ни рождение его не помешают мне заниматься тем, чем я пожелаю, — в том числе участвовать в каждом протесте против каждого проявления произвола» (стр. 171).

Это не было пустой фразой. 28 августа 1968 г. на Красной площади произошла демонстрация молодежи, протестующей против вторжения советских войск в Чехословакию. Все они тотчас же были арестованы, кроме Н. Горбаневской, написавшей затем письмо редакторам иностранных газет, чтобы оповестить весь мир о выступлении в защиту Чехословакии. Она заканчивает это замечательное по благородству и мужеству письмо словами:

«Мои товарищи и я счастливы, что смогли принять участие в этой демонстрации, что смогли, хоть на мгновение, *прервать поток разнузданной лжи и трусливого молчания* (курсив мой — О. М.) и показать, что не все граждане нашей страны согласны с насилием, которое творится от имени советского народа».

Далее она говорит, что мысль о том, что чехи и словаки узнают об этом поступке, придает ей мужество и силу (мы прибавим от себя: чтобы нести до конца свой гражданский крест).

Наталья Горбаневская — поэт не только на бумаге, но и в жизни. Ибо что такое настоящий поэт? Это тот, кто обязан быть

правдивым. Если же он по малодушию совершает грех против Духа, он тотчас же несет за это кару. То, что другому прощается за его слепоту, ему не простится. Горбаневская это знает, недаром она признается: «Я стихослагатель, печально не умеющий солгать» (стр. 23).

Стихи Натальи Горбаневской полны намеков на безжалостную судьбу, на нежелание, на невозможность бежать от предназначенной ей Голгофы (стр. 40).

Куда полет? Куда порыв?
Или как ветер листья носит,
Или — как почта письма носит,
загадки писем не раскрыв.

Да помнишь ли сама слова,
которые ты произносишь,
в чужие ящики заносишь
и в незнакомые дома,
смотри, как не туда забросишь —
сума, тюрьма иль сулема...

Или строки (стр. 65):

...рука цепляется за то,
что ухватила перед смертью, —
за руку друга, за пальто,
за пуговицы, за бессмертье.

Но судьба друзей, судьба России еще более мучает ее. Многие ее стихи — видение смертника перед казнью, переживания человека, кидающегося с четвертого этажа на мостовую, воспринимающего предметы в каком-то вихревом, перевернутом виде. Это чувствуется в стихотворении «Глядите на подоконник...» (стр. 21): «Покудова комната комом / не стала у горла. Пока / она еще кажется домом / от пола до потолка»; или в стихотворении «Стрелок из лука, стрелок из лука...» (стр. 25): «А небо пусто. А поле голо. / А горло сходится ото лжи...» — вот обычная атмосфера ее поэзии. Трудно передать видение

Апокалипсиса — настолько оно грандиозно; но, по-видимому, возможно это выразить простыми прочувствованными словами. В стихотворении «Горсточку воды...» (стр. 105) есть такие строки: «Что, вам нелегко? / Просто Страшный Суд, / просто никого больше не спасут ... нет на вас креста, / и земля пуста». Они звучат, как последние слова приговоренного к казни. Поэт понимает, что все старые мерки не годятся больше, что собственные горести и беды тускнеют перед сценами Потопа (стр. 102):

В моем родном двадцатом веке,
где мертвых больше, чем гробов,
моя несчастная, навеки
неразделенная любовь

средь этих гойевских картинок
смешна, тревожна и слаба,
как после свиста реактивных
иерихонская труба.

Человек XX века все больше сознает, что: «Любовь из каждого угла, / всего лишь пища для стихов, / для глупой песенки щегла, / для крика петухов. / Так промолчи. И помолчи» (стр. 82).

Очаровательна «колодезная песенка простая» (стр. 31): бадейка из березовой коры, которая «поднимается пустая» из колодца — символа неудачливой жизни. В песнях ее приглушенная грусть. Она видит себя «Воробушком ободранным в боях, / наперекор непробивному ветру / ... корабликом на вздыбленных морях» (стр. 42). Поэт сознает себя крылатым, рожденным для невозможной свободы: «И птица сбита с толку, если путь / над океаном сердцем выбирает, / на парусник садится отдохнуть, / но в кровь — но грудь о трубы разбивает» (стр. 45). Брошенная в вихрь событий, она не вольна наслаждаться тишиной, красотой мира: «И тихий голос, как дикий голубь, / скользя в заоблачной вышине, / не утоляет мой жар и голод, / не опускается сюда ко мне» (стр. 33).

Дитя своего века, она не верит «святым снам Поэзии», считая их за красивые миражи: «Звезда с небес и сладостный сонет — / тебя уже ничто не обморочит» (стр. 119). Даже над Пушкиным она готова иронизировать: «Дежурный монстр присядет и прикурит, / притворствует — мол, тоже человек... / А тот, в плаще, в цепях, склонивши кудри, / неужто всё про свой „жестокий век"?» (стр. 123).

Всюду разлита, я бы сказала, «героическая ирония» бойца, который шутит перед лицом смерти. «Не приводят дороги в Рим, / но уходят всё дальше от Рима» (стр. 59), или: «А я откуда? Из анекдота» (стр. 71). Строки «Шкуру с себя спокойненько / стягиваю, как пальто» — гротеск, карикатура. Поэт верно подмечает характерное для своей поэзии: «И в слабом женском горлышке / (Щегол! Кукушка! Скворушка!) / гуляет между строк / вселенной ветерок» (стр. 133).

Конечно, есть у Горбаневской и промахи, вроде безвкусного сочетания слов в строке: «Что, дорывалась распятия?» (стр. 70). Но такие грехи неизбежны у молодого поэта. Есть очень удачные находки — сравнение России с ивой, «отдавшей прутья свои, / почти что безумная ива / из тысячелетней любви» (стр. 34) — намек на жертвы чужих страстей, на Дездемону, Офелию...

По последним сведениям («Хроника текущих событий» № 15, от 31. 8. 1970 г.), Н. Горбаневскую судили 7 июля с. г. и приговорили к «помещению в психиатрическую больницу специального типа для принудительного лечения. Срок лечения не указывается». Сердце сжимается при мысли, что́ она должна переживать там, разлученная с близкими, с маленькими своими детьми...

Если загаженная нашими грехами и преступлениями земля наша еще не окончательно погибла, то лишь благодаря жертвенной любви, молитве праведников. Если и это только иллюзия, тогда во что же остается верить? Нет, всё, всё доказывает Бытие Божие и, прежде всего, это — неугасающее торжество духа над немощной плотью, над кознями подлого и хитрого ума нашего, над злобой и отчаяньем.

О. Можайская

УЛЫБКА ПСИШИ

Название этой книги звучит несколько иронически, а рассказ с тем же заглавием сначала вызывает у читателя недоумение. Почему героиню — стареющую актрису, когда-то игравшую роль Душеньки в пьесе, по-видимому, называвшейся «Псиша», прозвали этим именем? Не из-за ее ли роли, созданной для нее, потому что она и в жизни донкихотствует, или потому, что она олицетворяет нашу безумную, сорвавшуюся с петель эпоху? Возможно, что «Псиша» означает и то, и другое. В первом случае — это просто дружеская кличка, во втором — имя это имеет символический смысл. И действительно, в рассказе переплетаются два плана: драма пожилой актрисы в изгнании, не желающей сдавать своих боевых позиций, и трагедия России, русского театра, ради которого героиня готова всем жертвовать.

Сила мечты торжествует над пошлой действительностью: она одна способна преобразить ее.

Язык рассказов тоже подчас невероятно пошлый. Но, по-видимому, если бы стиль их был иным, писательница не могла бы передать весь трагизм событий. Пошлость эта еще более подчеркивает пропасть между мелкими страстишками героев (окружение Псиши) и огромной непреодолимой трагедией России. В рассказе есть моменты бредовые, даже пророческие. Сквозь гибель персонажей, разруху, падение страны все же предчувствуется дуновение свободы, победа Мечты.

«Седьмая тетка доктора Шена» читается с увлечением. Мы знакомимся с загадочным древним Китаем, с его обычиями. Но это внешняя оболочка: человеческие страсти всюду те же. И там «живут мучительные сны»...

Чувства героев Крузенштерн-Петерец, хотя и кажутся порой несерьезными, всё же глубоко искренни. Герои ее скучают и тоскуют от безвыходного одиночества. Порой вспыхивают увлекающие их мечты, но и они гаснут, едва успев взвиться к небу.

Ю. Крузенштерн-Петерец. Улыбка Псиши. Рассказы. Мюнхен, 1969.

Рассказ «Поговорите со мной» кажется мне самым значительным из всех. Тон в нем совсем иной, хотя написан он также в жанре гротеска. Герои его — «потомок Рюрика», эмигрант-неудачник и миллиардер-король, «из тех, что из просторов Нового Света диктуют цены на нефть, пшеницу и сталь»; эти два человека высказывают друг другу самые заветные мысли. Князь — потому что «в нем нарастала мука желания поговорить с кем-нибудь о пройденной жизни, осмыслить ее, постичь, что было в ней самого важного, что должно сохраниться, что будет смыто временем. Поговорить об этом не удавалось никогда. Не с кем было». Так как он в эту минуту вдребезги пьян, он посмел высказать эти мысли вслух: «...язык умирающего.., уходящего отсюда, совсем не похож на язык человека, еще верящего в жизнь,» — сказал он. «Вот, вот, — подхватил миллионер, — и это не так, как если бы один говорил по-английски, а другой по-китайски. Там еще можно понять друг друга, там жесты, мимика, предметы, на которые можно показать. А это язык разных миров, один здешнего, другой — промежуточного». «Поговорите со мной» просто не доходит до уха здешнего человека.

Автор зорко смотрит в «кривое зеркало» существования, вернее в души людей, ставших «сами вроде кривого зеркала» («Пустота»). Он сознает, что даже самый несчастный все же цепляется за жизнь, чувствуя себя «еще здешним», что и ему страшно беседовать с тем, кто подошел к последней черте отчаяния, с тем, кто понял до конца, что всё, чем он жил до сих пор, — «не настоящее»...

Пожелаем автору творческих сил и возможностей открыть для себя новые горизонты, ибо каждый талантливый писатель может увидеть их лишь собственными глазами.

О. Емельянова

ПУТЕШЕСТВИЯ ОЛЕАРИЯ В РОССИЮ XVII ВЕКА

Многое из того, что мы знаем о жизни России прошлых столетий, почерпнуто нами не у русских летописцев, а у иностранных путешественников и историков. Так, например, Прокопий Кесарийский, Константин Порфирородный, Гельмгольд, Козьма Пражский и Титмар Мерзебургский сообщают нам более точные данные о ряде явлений в разных областях жизни древних славян, чем любой славянский источник.

В XVII в. Адам Олеарий выпустил в свет книгу, которая долгое время служила в качестве главного источника познания России на Западе; до конца XVII в. она переиздавалась несколько раз в Германии; кроме того, была переведена и издана на французском, английском, голландском и итальянском языках. Современные историки и по сей день считают работу Олеария одной из самых важных для изучения истории России первой половины XVII века.

Кем же был Олеарий? Адам Олеарий (Эльшлегер) родился в 1603 г. в немецком княжестве Ангальт. В 1627 г. он окончил лейпцигский университет, где занимался философией, литературой, математикой, астрономией и географией. После научной деятельности в Лейпциге Олеарий был в 1633 г. приглашен ко двору гольштейнского князя Фридриха. В течение последующих лет — в 1634 и 1636 гг. — трижды ездил в Россию с гольштейнскими дипломатами и купцами, которые добивались права проезда через Россию в Персию. В результате этих поездок Олеарий оказался настолько хорошо ознакомлен с русским двором, что гольштейнский князь в 1643 г. отправил его в роли посланца к царю Михаилу Федоровичу. Уважая многогранное образование и жизненный опыт Олеария, Михаил Федорович неоднократно предлагал ему у себя службу, но немецкий ученый остался у гольштейнского князя. С 1639 г. Олеарий начина-

---

The travels of Olearius in 17th century Russia, translated and edited by Samuel H. Baron, Stanford University Press, London: Oxford University Press, Stanford, California 1967.

ет работать над книгой о своих путешествиях в Россию и Персию.

Чем же именно такая книга может быть интересна для сегодняшнего читателя — русского и иностранного? Она, во-первых, интересна тем, что в ней содержатся описания не только отдельных правительственных учреждений и обычаев в России той эпохи, но и всё то, что автору казалось любопытным и важным. Естественно, что наблюдения иностранного автора всегда в какой-то мере ограничены. Но поскольку Олеарий в своей книге приводит огромное число деталей, касающихся дел тогдашнего правительства и жизни русского народа, он дает нам возможность воспроизвести цельную картину России первой половины XVII в. Во-вторых, в этой книге содержится немало наблюдений и замечаний, свидетельствующих о том, что путешественник во многих случаях сталкивался в России с такими явлениями, которые он в силу своего воспитания и опыта понимать не мог и истолковывал их неверно. Эти пункты представляют собой особый интерес и ценность, т. к. они часто объясняют возникновение многих предрассудков и недоразумений, которые по отношению к русскому народу и России живы на Западе и до сих пор.

Поскольку до Олеария ни один иностранец в своих описаниях России не упоминал Архангельска, наш путешественник включил в свою книгу краткое описание того места, которое как «на картах, так и в атласе называется Св. Михаил Архангел». Кроме самого факта упоминания Архангельска, этот абзац не особенно интересен, т. к., с одной стороны, слишком краток, с другой, — основывается только на том, что Олеарий слышал от других во время своего пребывания в Москве.

Сегодняшний читатель непременно найдет в книге Олеария целый ряд самых неожиданных фактов. Кто, например, в наши дни знает, что строительство домов из готовых частей возникло впервые не в Америке XX в.? Олеарий же рассказывает, что в той части Москвы, где река Яуза соединяется с Москва-рекой (значит, недалеко от нынешней Таганки), торговали домами, которые можно было в течение двух дней поставить в любом районе города. Недаром эта часть Москвы называлась Скородом!

Не безынтересны также наблюдения Олеария, касающиеся русской еды. Он сообщает, что у русских существуют различные сорта овощей, «особенно спаржа, объемом в большой палец». Кроме того, выращиваются хорошие огурцы, лук и чеснок в большом количестве. Но, увы, русские не имеют понятия ни о каких сортах салата и насмехаются над немцами, которые, по их мнению, едят «траву».

О самих русских людях Олеарий пишет: «Русские мужчины в основном сильные люди высокого роста, крепкого сложения, кожа у них того же цвета, как у других европейцев. Они придают большое значение длинным бородам и большим животам и очень уважают тех мужчин, у которых эти приметы налицо». Тех женщин, которые от природы красивы и не нуждаются в косметических средствах, заставляют тем не менее краситься, чтобы своей естественной красотой они не обижали тех, кто нуждается в искусственном украшении. «...Несмотря на то, что русские совершенно не разбираются в естественных науках и в искусстве, большинство из них высказывают грубые и бессмысленные мнения по этим вопросам, когда встречаются с иностранцами, обладающими знаниями в этих областях. Так, например, они считают астрономию и астрологию колдовством;» они убеждены, что обычный смертный не может предсказывать затмения луны или солнца или движения звезд. Олеарий отказался от приглашения русского царя остаться при его дворе в качестве астронома потому, что люди сочли его колдуном и стали к нему относиться враждебно.

Рассказывая о русском народе, Олеарий не мог не упомянуть об отвратительных и безнравственных ругательствах, которые употребляют не только взрослые и старые люди, но и маленькие дети. Хотя, пишет Олеарий, недавно был издан указ, запрещающий бесстыдную ругань, те, кому поручено было следить за проведением этого указа в жизнь, отказались от работы, т. к. понимали, что им не по силам браться за искоренение этой привычки, от которой и сами они не могли освободиться. Однако ради объективности Олеарий все-таки признает, что в свою ругань русские не включают религиозных понятий или упоминания о святых таинствах, «как это, к сожалению, делается у нас».

Это место, как и дальнейшие отзывы западного путешественника о пьянстве и блуде, не представляют общество тогдашней России в положительном свете; при этом Олеарий подчеркивает, что пороки такого рода наблюдаются не только в среде простого народа, но в тех же размерах и в правящих кругах. Дальнейшие главы о русской еде, напитках, гостеприимстве и разных обычаях являются ценным обзором тогдашней жизни в России.

Для историков особенно интересны те главы в книге Олеария, которые посвящены правам царя, политическим переменам при царском дворе и вопросам управления страной. Хотя Олеарий и не был прямым свидетелем описываемых им событий, его рассказ о московском восстании 1648 г. длительное время считался самым значительным источником по этой теме.

В описаниях религиозных обрядов сильно ощущается протестантский духовный склад Олеария. Так, например, он заканчивает свое описание малого освящения воды 1 августа словами: «Из храма доносились шум и крики молодых и старых людей, какие можно услышать в общей бане или в кабаке». В таких случаях Олеарий не осуждает обычаев русской Церкви — он просто не понимает, что в действительности происходит.

Впервые книга Олеария вышла в 1647 г., но уже в 1656 г. за ней последовало второе издание под названием «Новое расширенное описание путешествий в Московию и Персию». До 1727 г. вышло девять дальнейших изданий на немецком, девять на французском, три на голландском, три на английском и одно издание на итальянском языках. Поскольку Олеарий в своих описаниях живописует не весьма привлекательную картину русской жизни, не трудно догадаться, что первый русский перевод его книги появился только в 1861 г., хотя до нас дошла рукопись перевода XVII века. После издания сокращенного перевода в 1861 г. работа Олеария публиковалась полностью в «Чтениях в императорском обществе истории и древностей российских» при императорском Московском университете с 1868 по 1880 гг. в переводе П. Барсова. Новый перевод А. М. Ловиагина вышел в Санкт-Петербурге в 1906 г.

Славу Олеарию в ученых кругах XVII в. принесла не только эта книга, которая, очевидно, заинтересовала широкие круги читателей. Он публиковал работы на самые различные научные, исторические и литературные темы. Особенно много он занимался изучением Персии — ее культуры и языка, перевел «Голестан» персидского поэта Саади и оставил после себя рукопись персидско-турецко-арабского словаря.

Труды человека с таким широким образованием и интересами привлекают не только внимание историков, но и гораздо более широкий круг читателей. Поэтому мы с большим удовлетворением можем сообщить о новом переводе книги Олеария о путешествиях в Россию на английский язык. Книга выпущена профессором калифорнийского университета Сэмюэлом Х. Бэроном, редактором ее и переводчиком. Заслуга этого нового издания, во-первых, в том, что перевод сделан на современный английский язык, ясный и четкий; переводчик отошел от слишком рабского отношения к оригинальному тексту, написанному на старинном языке, с длинными и сложными синтаксическими оборотами, за которыми смысл текста нередко оставался туманным; во-вторых, Бэрон снабдил книгу обширным критическим аппаратом: его ссылки облегчают понимание исторической подоплеки многих данных и предоставляют возможность читателю сравнивать описания Олеария с показаниями других источников. Так, например, большинство читателей, вероятно, осталось бы в недоумении, прочитав у Олеария такую фразу: «Вечером мы... пришли в деревню Грузино, из которой все крестьяне сбежали перед нами.» Почему сбежали? Олеарий не дает никаких объяснений. Бэрон же разъясняет, что крестьяне, несомненно, испугались приближающихся иностранцев потому, что в те времена страну грабили иностранные наемники, которых царь взял к себе на службу, чтоб отвоевать обратно от поляков Смоленск. Интересная ссылка дается к предположению Олеария о существовании в России «двоеверия» вплоть до московского периода. Может вызвать удивление читателя и то, что Олеарий Московское княжество называет Белоруссией. Но из ссылки Бэрона мы узнаем, что к концу XV в. и в начале XVI в. поляки и литовцы называли московскую Россию «белой», а Белоруссию — «черной».

В тех главах, где Олеарий говорит об обычаях русского народа, Бэрон в ссылках часто указывает на параллельные явления у других народов. Но в некоторых местах, однако, явно не хватает ссылок, которые могли бы помочь, в частности, западному читателю понять суть описываемого. Особенно это бросается в глаза, когда Олеарий пишет о церковных обрядах. Так, например, нет пояснения к описанию освящения воды 1 августа (стр. 52) или разъяснения того, какой «великий праздник русские празднуют 1 октября», — а именно Покров Пресвятыя Богородицы, который описан у Олеария на стр. 72. Следовало также указать, что литургия Св. Василия Великого совершается не каждое воскресение, как можно понять из текста Олеария (стр. 250), а лишь в определенных случаях; каждое же воскресение совершается чин Св. Иоанна Златоуста. Но эти немногочисленные упущения никак не ставят под вопрос те большие заслуги издания, о которых упомянуто выше. Много интересных и ценных данных приведено также в введении Бэрона к книге Олеария, так что издание это можно спокойно рекомендовать всем, кто интересуется данной темой, историей России XVII в. и ее источниками.

Д. Орленин

ЕЩЕ ОДНА НАХОДКА

В помещенном в этой книжке «Граней» списке книг, полученных редакцией, упомянуто вышедшее в августе 1970 г. американское издание биографической повести М. Булгакова «Жизнь господина де Мольера». Повесть эта была закончена автором в 1933 году. Так как советская власть еще в 1930 г. запретила публикацию произведений Булгакова, «Жизнь господина де Мольера» пролежала в цензурных архивах почти тридцать лет. Лишь в 1962 году она была напечатана в Москве.

Напомним, что нашумевшая в последние годы повесть Булгакова «Мастер и Маргарита», еще менее приемлемая для

M. Bulgakov. The Life of Monsieur de Molière. Funk and Wagnalls, New York. 1970. Pp. XII + 260.

большевиков, впервые появилась на русском языке в журнале «Москва» лишь в 1967 г., причем цензура исказила текст большим количеством купюр, выбросив иногда по нескольку страниц. Этот искаженный текст был несколько раз, в течение двух лет, переиздан по-русски за рубежом, с него же сделаны и переводы на другие языки. Однако издательству «Посев» удалось выпустить полный авторский текст повести; все места, выброшенные цензурой и потому не вошедшие ни в одно из всех других изданий повести, выделены в книге, опубликованной «Посевом», курсивом. Мы еще не знаем, подверглась ли повесть «Жизнь господина де Мольера» такой же цензурной обработке.

Перевод «Жизни господина де Мольера» на английский язык сделан прекрасной переводчицей Миррой Гинсбург. Она же перевела ранее на английский «Мастера и Маргариту», сатирическую повесть М. Булгакова «Роковые яйца» и его пьесу «Полёт», а также ряд произведений Исаака Бабеля и других русских писателей, неугодных советской власти и угождать ей не желавших.

Ив. С.

СПИСОК КНИГ, ПОСТУПИВШИХ В РЕДАКЦИЮ

Врангель, П. Н., барон, генерал. Воспоминания. Фотографическое переиздание из сборников «Бѣлое Дѣло» («Лѣтопись Бѣлой Борьбы»). Изд. «Посев», Франкфурт-на-Майне. 1970. Стр. 312 + 269 + 12 вкл. листов фотографий.

Гольдштейн, Михаил. Записки музыканта. Изд. «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1970. Стр. 142.

Горбаневская, Наталья. Полдень. Дело о демонстрации 25 августа на Красной площади. Изд. «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1970. Стр. 497 + 4.

Клюев, Николай. Сочинения. Под общей редакцией Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Изд. А. Нейманис, Мюнхен, 1969. Том I — стр. 571 + 2 вкл. Том II — стр. 503 + 1 вкл.

Криворотов, В. И. Контрреволюционеры. Роман в 3-х частях. Часть первая: Мадрид, 1969; стр. X + 475. Часть вторая: Мадрид, 1969; стр. 511. (Часть третья — в печати).

Кукловская, Елизавета. Метель. Роман в стихах. Нью-Йорк, 1970. Стр. 2 + 59.

Месснер, Е., проф. Мир без мира. Всеславянское Издательство, Нью-Йорк, 1967. Стр. 61.

Мечев, отец Алексей. Воспоминания. Письма. Проповеди. Надгробное слово о себе самом. Редакция, примечания и предисловие Н. А. Струве. YMKA-PRESS, Париж, 1970. Стр. 389 + 2.

Окуджава, Булат. Два романа. (Бедный Авросимов. Фотограф Жора). Изд. «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1970. Стр. 431 + 1 вкл.

Попович, Н., др. (Составитель, редактор):
Беседы буддиста. Формоса (Аргентина), 1966. Стр. 40.
Смысл жизни. То же изд., 1968. Стр. 29.
Избранные поучения Будды. То же изд., 1969. Стр. 32.

Странник. Нескучный Сад. Четвертая книга лирики. Сан-Франциско, 1970. Стр. 55.

Фрейд, Зигмунд. Избранное. Том I. Overseas Publications Interchange Ltd., Лондон, 1969. Стр. 355.

Bulgakov, Mikhail. The Life of Monsieur de Molière. Funk and Wagnalls, New York, 1970. Pp. XII + 260.

Grunert, Manfred — s. Literatur und Repression.

Kraus, Wolfgang. Die stillen Revolutionäre. Umrisse einer Gesellschaft von morgen. Verlag Fritz Molden, Wien, 1970. SS. 221.

Literatur und Repression. Sowjetische Kulturpolitik seit 1965. Herausgegeben und eingeleitet von Helen von Ssachno und Manfred Grunert. Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 1970. SS. 199.

Masi, Edoarda. Die chinesische Herausforderung. Beiträge zu einer sozialistischen Strategie. Verlag Klaus Wagenbach, Berlin, 1970. SS. 173.

Mňačko, Ladislav. Die Agressoren. Von der Schuld und Unschuld der Schwachen. Verlag Fritz Molden, Wien, 1968. SS. 272.

Parkinson, C. Northcote. Good-bye, Karl Marx. Geleitwort Hans Katzer. Mit einem Anhang von Uwe Bahnsen. Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg, 1970. SS. 286.

Senghaas — Knobloch, Eva — s. Studien zur Friedensforschung, Bd. 2.

Singer, Ladislaus. Sowjetimperialismus. Seewald Verlag, Stuttgart, 1970. SS. 224.

Ssachno, von, Helen — s. Literatur und Repression.

Studien zur Friedensforschung. Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1969:

Band 1. Herausgegeben von Georg Picht und Heinz Eduard Tödt. SS. 239.

Band 2. Eva Senghaas—Knobloch. Frieden durch Integration und Assoziation. SS. 199.

UdSSR. Der Sowjetstaat und seine Menschen. Einfürende Essays von Heinrich Böll und Valentin Katajew. Belser Verlag, Stuttgart, 1970. SS. XII + 308. (Mit zahlreichen Fotos, teils in Farben).

Редактирует Редакционная Коллегия

Главный редактор **Н. Б. Тарасова**

Ответственный секретарь **Г. Т. Нашиваненко**

Адрес редакции журнала «Грани»:

Grani c/o Possev-Verlag, 623 Frankfurt/M., Sossenheim, Flurscheideweg 15

Druck: Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

СОДЕРЖАНИЕ №№ 75-78 ЖУРНАЛА «ГРАНИ»

№ 75

(Апрель 1970 г.)

Виктор Вельский — Откровения Виктора Вельского; Петр Вегин — Над крышами. Поэма; Муза Павлова — Ящики. Пьеса; Т. Семенова-Бенини — Константин Паустовский. Главы из монографии; А. Больто — Духовные судьбы России; В. Перелешин — Просторная простота; О. Можайская — Следопыт родных полей; Арк. Слизской — Книга о второй мировой войне; О. Емельянова — Зов природы; Список книг, поступивших в редакцию; Обращение изд-ва «Посев».

№ 76

(Июль 1970 г.)

Илья Габай — Волхвы. Попытка объяснить замысел. Моя исповедь. Стихи; Варлам Шаламов — Эсперанто. Инженер Киселев. Лагерная свадьба. Татарский мулла и чистый воздух. Последний бой майора Пугачева. По лендлизу. Любовь капитана Толли. Менделист. Погоня за паровозным дымом. Рассказы; Иосиф Бродский — 1 сентября 1967 года. «Отказом от скорбного перечня — жест...» Стихи; Наталья Горбаневская — Стихи, не собранные в книги; Муза Павлова — Крылья. Пьеса; В. Ардов — Встреча Анны Ахматовой с Мариной Цветаевой; Л. Кузьмич — Борис Пильняк и его роман «Голый год»; † А. Половцев — Модернизм — духовная революция; В. Ростопчин — Призрак. Страх. Страха ради; В. Перелешин — Обвинительный акт; А. Ранин — О. Мандельштам. Том третий; Ю. Арсеньев — Воспоминания поэта-переводчика; Вл. Нежданов — Новая книга о советском шпионаже; Список книг, поступивших в редакцию; Обращение изд-ва «Посев».

№ 77

(Октябрь 1970 г.)

Юлий Даниэль — А в это время... Поэма; Варлам Шаламов — Аневризма аорты. Кусок мяса. Припадок. Бизнесмен. Женщина блатного мира. Сергей Есенин и воровской мир. Рассказы; Илья Габай — В последний раз в именье родовом. Позднее кредо Иова. Стихи; В. Костецкий — Адам, я и капиташа; М. Булгаков — Записки на манжетах. Отрывки; Вечер памяти Мандельштама в МГУ; Е. Олицкая — Соловки. Отрывки из книги; Н. Ф. Платтен — Из Зеркального переулка в Кремль; А. Александров — О повести «Котлован» А. Платонова; Н. О. Лосский — Интуитивизм; Г. Померанц — Человек без прилагательного; В. Перелешин — Апологет ереси; Глеб Рар — «Церковь и Россия»; А. Русак — Пятнадцать веков христианского искусства; Вл. Нежданов — Люди за бортом; О. Можайская — В преодолении рока; Список книг, поступивших в редакцию; Обращения редакции «Граней» и изд-ва «Посев».

№ 78

(Декабрь 1970 г.)

От редакции; Василий Гроссман — Всё течет... Отрывки из романа; Марина Цветаева — На смерть Маяковского. Стихотворение; А. и Б. Стругацкие — Сказка о тройке. Повесть; Д. Руднев — «Замкнутый мир» современной русской фантастики; Вл. Н. Павлов — Историософские взгляды О. Мандельштама; Н. О. Лосский — Интуитивизм. Окончание; В. Перелешин — Залетная душа; А. Неймирок — «Dichtung» и «Wahrheit»; О. Можайская — «Не умеющая солгать»; О. Емельянова — Улыбка Псиши; Д. Орленин — Путешествия Олеария в Россию XVII века; И в. С. — Еще одна находка; Список книг, поступивших в редакцию; Содержание номеров 75-78 журнала «Грани»; Обращение изд-ва «Посев».

ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ» К ЛИТЕРАТУРНОЙ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНЧЕСТВУ, К ПИСАТЕЛЯМ, ПОЭТАМ, ЛИТЕРАТУРНЫМ КРИТИКАМ, К ДЕЯТЕЛЯМ ИСКУССТВА, НАУКИ И ТЕХНИКИ — КО ВСЕЙ РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Русское издательство «Посев», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет Вам возможность публиковать те Ваши произведения, которые по условиям цензуры не могут быть изданы на Родине.

Эти произведения могут быть напечатаны в журнале «Грани», в ежемесячнике «Посев» или изданы отдельными книгами. Возможна также публикация этих произведений на иностранных языках.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, так и псевдонимом. В последнем случае издательство принимает необходимые меры для того, чтобы исключить возможность установления личности автора, и гарантирует, что оригинал рукописи не попадет в чужие руки.

Рукописи, вышедшие в Самиздате, перестают быть исключительным достоянием автора, — они становятся достоянием российской литературы. Поэтому наше издательство считает прямым своим долгом способствовать публикации таких рукописей, поскольку новая российская литература лишена политической цензурой права голоса у себя в стране. При этом мы, естественно, не пытаемся заручиться формальным разрешением автора на такие публикации.

Авторские гонорары в размере, соответствующем установленным в «Посеве» ставкам, будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно как через своих граждан, едущих за границу в некоммунистические страны, так и через иностранцев, посещающих СССР.

Приехавший за границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в случае необходимости — опустить в почтовый ящик и без марок. На пакете с рукописью необходимо указать следующий адрес:

Possev - Verlag,
623 Frankfurt am Main, 80, Flurscheideweg 15.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

На российскую интеллигенцию, в особенности на молодежь, возлагается историей ответственная задача — в свободном творчестве правдиво изображать жизнь и стремления нашего народа, воспроизводить его духовный облик. За свободное творчество! За свободную Россию!

С дружеским приветом

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОСЕВ»

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ПОСЕВ»

ВАС. ГРОССМАН

ВСЁ ТЕЧЕТ

Книга, которую ждали годами. Социально-критическое произведение, недавно вышедшее в Самиздате. В. Гроссман — автор нашумевшего романа «За правое дело»

Художественная обложка. В книге 208 стр.

Цена в твердом переплете 18.80 н. м., в мягком — 15.50 н.м.

В США и Канаде — 6.30 ам. дол. и 5.20 ам. дол.

МИЛОВАН ДЖИЛАС

РАЗГОВОРЫ СО СТАЛИНЫМ

Перевод с сербскохорватского. Книга включает также статью автора, написанную к девяностолетию со дня рождения Сталина.

Цена книги 12.80-- н. м. в США и Канаде 4.25 ам. дол.

ВОСПОМИНАНИЯ

ген. П. Н. ВРАНГЕЛЯ

В книге 648 стр. Много иллюстраций, схем и фотографий, а также два портрета генерала П. Н. Врангеля на меловой бумаге. Художественный твердый переплет.

Цена 40.-- н. м. В США и Канаде 12.-- ам. дол.

ВАЛЕРИЙ ТАРСИС

Вышел из печати том I полного собрания сочинений

ЭПОПЕЯ

РИСКОВАННАЯ ЖИЗНЬ ВАЛЕНТИНА АЛМАЗОВА

книга первая

СТОЛКНОВЕНИЕ С ЗЕРКАЛОМ

Мягкий переплет, художеств. обложка. В книге 403 стр.

Цена 26.-- н. м. В США и Канаде 8,50 ам.дол.

А. АНАТОЛИЙ (КУЗНЕЦОВ)

БАБИЙ ЯР

Роман-документ

Обложка художника Н. Николенко, мягкий переплет, карманный формат, 488 стр.

Цена 18.80 н. м. В США и Канаде 6.50 ам. дол.

ГРАНИ

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Стоимость подписки на 4 номера (включая пересылку)

в Германии и во всех других странах,
кроме США и Канады:
При подписке непосредственно из издательства — 26.-- н.м.

При подписке через представителей
и книжные магазины — 30.-- н. м.
Цена в розничной продаже — 7.50 н. м.
(или эквивалент 7.50 н. м.).

В США и Канаде:
При подписке непосредственно из издательства
— 7.-- ам. дол. При подписке через представителей
и книжные магазины — 10.-- ам. дол.

Цена в розничной продаже — 2.50 ам. дол.

Подписную плату следует посылать:
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу

POSSEV-VERLAG
D-623 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15

или же банковским переводом на
Konto 215 640, Dresdner Bank, Frankfurt/Main.

Из Германии удобнее переводить деньги на
Konto 334 61, Postscheckamt Frankfurt/Main.